



Герман Мелвилл

Моби Дик, или Белый кит

Перевод с английского
Инны Бернштейн



ФТМ



Герман Мелвилл

Моби Дик, или Белый Кит

«ФТМ»

1851

Мелвилл Г.

Моби Дик, или Белый Кит / Г. Мелвилл — «ФТМ», 1851

ISBN 978-5-4467-1740-8

Чтобы оценить эту книгу, надо забыть о том, сколько раз ее называли «величайшим американским романом» и «шедевром мировой литературы». Да не отпугнут читателя ярлыки, навешанные за сто с лишним лет. И большая удача, конечно, что «Моби Дик» не входит в школьную программу. Бессмысленно пытаться рассказать, о чем этот роман. И если, перевернув последнюю страницу, вам покажется, что вы всё поняли, – читайте заново.

ISBN 978-5-4467-1740-8

© Мелвилл Г., 1851

© ФТМ, 1851

Содержание

Пределы Вселенной Германа Мелвилла	5
Моби Дик, или Белый Кит	24
Этимология	24
Извлечения	25
Извлечения	25
Глава I	36
Глава II	40
Глава III	43
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Герман Мелвилл

Моби Дик

Пределы Вселенной Германа Мелвилла

В литературной истории Соединенных Штатов творчество Германа Мелвилла – явление выдающееся и своеобразное. Писатель давно уже причислен к классикам американской словесности, а его замечательное творение «Моби Дик, или Белый Кит» с полным основанием считается одним из шедевров мировой литературы. Жизнь Мелвилла, его сочинения, переписка, дневники досконально изучены. Существуют десятки биографий и монографий, сотни статей и публикаций, тематические сборники и коллективные труды, посвященные различным аспектам творчества писателя. И все же Мелвилл как личность и как художник, прижизненная и посмертная судьба его книг продолжают оставаться загадкой, до конца не разгаданной и не объясненной.

Жизнь и творчество Мелвилла полны парадоксов, противоречий и труднообъяснимых странностей. Так, например, у него не было сколько-нибудь серьезного формального образования. Он никогда не обучался в университете. Да что там университет! Суровая жизненная необходимость вынудила его бросить школу в возрасте двенадцати лет. Вместе с тем книги Мелвилла говорят нам, что он был одним из образованнейших людей своего времени. Глубокие прозрения в сферах гносеологии, социологии, психологии, экономики, с которыми читатель сталкивается в его произведениях, предполагают не только наличие острой интуиции, но также и солидный запас научных знаний. Где, когда, каким образом он их приобретал? Можно только предполагать, что писатель обладал удивительной способностью к концентрации внимания, позволявшей ему в короткое время осваивать огромное количество информации и критически ее осмысливать.

Или возьмем, скажем, характер жанровой эволюции творчества Мелвилла. Мы уже привыкли к более или менее традиционной картине: молодой литератор начинает со стихотворных опытов, затем пробует себя в кратких прозаических жанрах, потом переходит к повестям и, наконец, достигнув зрелости, берется за создание крупных полотен. У Мелвилла все было наоборот: он начал с повестей и романов, затем взялся за сочинение рассказов и закончил свой творческий путь как поэт.

В творческой биографии Мелвилла не было ученического периода. Он не пробивался в литературу, он «ворвался» в нее, и первая же его книга – «Тайпи» – принесла ему широкую известность в Америке, а затем в Англии, Франции и Германии. В дальнейшем мастерство его возрастало, содержание книг становилось более глубоким, а популярность необъяснимым образом падала. К началу шестидесятых годов Мелвилл был «намертво» забыт современниками. В семидесятые годы один английский почитатель его таланта пытался разыскать Мелвилла в Нью-Йорке, но безуспешно. На все расспросы он получал равнодушный ответ: «Да, был такой писатель. Что с ним теперь – неизвестно. Кажется, умер». А Мелвилл жил тем временем в том же Нью-Йорке и служил досмотрщиком грузов в таможене. Вот и еще один загадочный феномен, который можно назвать «молчанием Мелвилла». В самом деле, писатель «замолчал» в расцвете сил и таланта (ему не было еще сорока лет) и молчал три десятилетия. Единственное исключение составляют два сборника стихотворений и поэма, опубликованные мизерным тиражом за счет автора и совершенно не замеченные критикой.

Столь же неординарной была и посмертная судьба творческого наследия Мелвилла. До 1919 года его как бы не существовало. О писателе забыли столь прочно, что когда он действительно умер, то в кратком некрологе не сумели даже правильно воспроизвести его имя. В 1919

году исполнилось сто лет со дня рождения писателя. По этому поводу не было ни торжественных собраний, ни юбилейных статей. О славной дате вспомнил лишь один человек – Рэймонд Уивер, именно тогда приступивший к сочинению первой биографии Мелвилла. Книга вышла спустя два года и называлась «Герман Мелвилл, моряк и мистик». Усилия Уивера поддержал известный английский писатель Д. Г. Лоуренс, чья популярность в Америке в эти годы была огромна. Он написал две статьи о Мелвилле и включил их в свой сборник психоаналитических статей «Этюды о классической американской литературе» (1923).

Америка вспомнила Мелвилла. Да как вспомнила! Книги писателя начали переиздаваться массовыми тиражами, из архивов были извлечены неопубликованные рукописи, по мотивам сочинений Мелвилла снимали кинофильмы и ставили спектакли (в том числе и оперные), художники вдохновлялись образами Мелвилла, и Рокуэлл Кент создал серию блистательных графических листов на темы «Белого Кита».

Естественно, что мелвилловский «бум» распространился и на литературоведение. За дело взялись историки литературы, биографы, критики и даже люди, далекие от литературы (историки, психологи, социологи). Тонкий ручеек мелвилловедения превратился в бурный поток. Сегодня этот поток несколько поутих, но далеко еще не иссяк. Последний сенсационный всплеск случился в 1983 году, когда в заброшенном амбаре в северной части штата Нью-Йорк были случайно обнаружены два чемодана и деревянный сундук с рукописями Мелвилла и письмами членов его семьи. Сто пятьдесят мелвилловедов заняты теперь изучением новых материалов, имея в виду внести необходимые коррективы в жизнеописание Мелвилла.

Заметим, однако, что «возрождение» Мелвилла имеет лишь отдаленную связь с его столетним юбилеем. Истоки его следует искать в том общем умонастроении, которое характеризовало духовную жизнь Америки конца десятых – начала двадцатых годов XX века. Общий ход социально-исторического развития США на рубеже веков и особенно первая империалистическая война породили в сознании многих американцев сомнение и даже протест против буржуазно-прагматических ценностей, идеалов, критериев, коими страна руководствовалась на протяжении полутравековой своей истории. Этот протест реализовался на многих уровнях (социальном, политическом, идеологическом), в том числе и на литературном. Он был заложен в качестве идейно-философского основания в творчестве О’Нила, Фицджеральда, Хемингуэя, Андерсона, Фолкнера, Вулфа – писателей, которых традиционно относят к так называемому потерянному поколению, но которых правильнее было бы именовать поколением протестующим. Именно тогда Америка вспомнила о романтических бунтарях, утверждавших величайшую ценность человеческой личности и протестовавших против всего, что эту личность подавляет, угнетает, перекраивает по меркам буржуазной нравственности. Американцы вновь открыли для себя творчество По, Готорна, Дикинсон, а заодно и позабытого Мелвилла.

Сегодня уже никому не придет в голову усомниться в праве Мелвилла расположиться на литературном Олимпе США, и в Пантеоне американских писателей, сооружаемом в Нью-Йорке, ему отведено почетное место рядом с Ирвингом, Купером, По, Готорном и Уитменом. Он читаем и почитаем. Завидная судьба, великая слава, о которой писатель не мог и помыслить при жизни!¹

¹ Настоящая статья содержит лишь общий очерк жизни и творчества Мелвилла. Читатель, заинтересующийся судьбой писателя, творческой историей его книг в соотношении с общим развитием литературной жизни США середины XIX века, может почерпнуть более подробную информацию в специальной монографии: Ковалев Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. Л., 1972.

* * *

Герман Мелвилл родился 1 августа 1819 года в Нью-Йорке в семье коммерсанта средней руки, занимавшегося импортно-экспортными операциями. Семья была многодетной (четыре сына и четыре дочери) и на первый взгляд вполне благополучной. Сегодня, когда мы знаем, сколь тесно личная и творческая судьба Мелвилла переплелась с историческими судьбами его родины, самый факт его рождения в 1819 году представляется знаменательным. Именно в этом году молодая, наивная, исполненная патриотического оптимизма и веры в «божественное предназначение» заокеанская республика пережила трагическое потрясение: в стране разразился экономический кризис. Самодовольному убеждению американцев, что в Америке «все не так, как у них там, в Европе», был нанесен первый ощутимый удар. Впрочем, не всем было дано прочесть огненные письма на стене. Отец Мелвилла оказался среди тех, кто не внял предупреждению и был жестоко наказан. Дела его торговой фирмы пришли в полный упадок, и в конце концов ему пришлось ликвидировать свое предприятие, продать дом в Нью-Йорке и перебраться в Олбани. Не выдержав нервного потрясения, он потерял рассудок и вскоре умер. Семейство Мелвиллов впало в «благородную нищету». Мать с дочерьми переехала в деревушку Лансинбург, где кое-как сводила концы с концами, а сыновья разбрелись по свету.

Смерть отца была первым трагическим рубежом в жизни Мелвилла. Ему было всего двенадцать лет, но детство кончилось. Он должен был бросить школу и наняться переписчиком бумаг в банковскую контору. Потом он батрачил на ферме у своего дядюшки Томаса. Тяжкий крестьянский труд оказался мальчишке не по силам, и он решил сделаться учителем. Для этого пришлось пройти годичный курс в классической гимназии в Олбани, где он получил сертификат, дающий право преподавания в начальной школе. Учительский хлеб оказался горек. Положение учителя в американских поселках того времени отдаленно напоминало статус пастуха в дореволюционной российской деревне: его нанимали в складчину, и, следовательно, он пребывал в полной зависимости от родителей своих учеников. К тому же ученики в большинстве своем были старше учителя, и не было никаких способов заставить их учиться. Дважды Мелвилл становился на учительскую стезю – в 1837 году в Питтсфилде и в 1839 году в Гринбуше – и оба раза позорно капитулировал.

Попытки получить начатки инженерного образования, а затем найти работу на строительстве канала Эри тоже оказались бесплодны. Образование (полугодичный курс в лансинбургской «академии») Мелвилл получил, но работы не нашел. Оставалась лишь одна дорога, по которой до него пошли многие Мелвиллы – деды, дядя, двоюродные братья, – дорога в море.

В первый свой морской вояж Мелвилл отправился в 1839 году юнгой на грузо-пассажирском корабле «Св. Лаврентий», совершавшем регулярные рейсы между Нью-Йорком и Ливерпулем. Спустя полтора года началось «великое морское приключение» будущего писателя, длившееся без малого четыре года.

* * *

Есть в штате Род-Айленд тихий и пустынный, насквозь продуваемый атлантическими ветрами городок Нью-Бедфорд. Скромно и с достоинством он хранит былую славу китобойной столицы Соединенных Штатов. Здесь начинался американский китобойный промысел, отсюда и с близлежащих островов (Нантакет и Виноградник Марты) уходили в многомесячные, а иногда и многолетние рейсы китобойные суда. Как драгоценную реликвию жители городка охраняют небольшую церковь, расположенную близ гавани. Здесь, на одной из скамей в задних рядах, прибита металлическая дощечка, сообщающая, что на этой скамье сидел Герман Мелвилл в канун своего отплытия на китобойном судне «Акушнет» 3 января 1841 года.

«Акушнет» плыл традиционным для китобоев маршрутом: Рио-де-Жанейро – мыс Горн – Сантьяго – Галапагосский архипелаг – Маркизские острова – «китовые» районы Тихого океана. Здесь не место рассказывать в подробности о чудовищных условиях, в которых жили и трудились матросы китобойного флота, о палочной дисциплине, потогонной системе труда, смертельном риске, сопряженном с охотой на китов. Все это хорошо известно и многократно описано. Укажем лишь на одно обстоятельство, имеющее для нас существенное значение: дезертирство матросов с китобойных судов носило массовый характер. Капитаны старались по возможности не заходить в крупные гавани, дабы не остаться без команды. Как правило, китобойцы возвращались из рейса, имея на борту менее половины первоначального состава команды.

Проплавав на «Акушнете» полтора года, Мелвилл вдосталь хватил горько-соленой матросской жизни. Силы и терпение его истощились, и во время стоянки у одного из островов Маркизова архипелага он сбежал с корабля в компании товарища-матроса Тоби Грина. Перевалив через прибрежный хребет, беглецы оказались в плодородной долине, где и были захвачены в плен каннибалами племени Тайпи.

Людоеды, однако, не съели Мелвилла. Они смотрели на него отчасти как на пленника, отчасти как на гостя. Как пленнику ему воспрещалось покидать долину; как гостю ему было оказано должное гостеприимство. Жизнь его не подвергалась опасности и даже не лишена была некоторой приятности. Тем не менее месяц спустя он сбежал от гостеприимных каннибалов и завербовался матросом на австралийское китобойное судно «Люси Энн», как раз в это время бросившее якорь в близлежащей бухте.

Порядки на «Люси Энн» мало отличались от суровой рутины «Акушнета», а недовольство команды было, пожалуй, более сильным и активным. 24 сентября 1842 года, когда судно находилось у берегов Таити, группа матросов (к ней примкнул и Мелвилл) взбунтовалась, была арестована и заключена в местную тюрьму. Через месяц Мелвилл бежал и перебрался на соседний остров Эймео, где вновь завербовался на американский китобоец «Чарлз и Генри», приписанный к Нантакету. На сей раз срок его матросской службы был оговорен – полгода. Через полгода капитан «Чарлза и Генри», верный слову, высадил Мелвилла на Гавайях.

Мелвилла потянуло на родину. Однако путь был далек, а денег не было. Случай представился, когда американский фрегат «Соединенные Штаты» бросил якорь в гавани Гонолулу. Мелвилл явился к капитану и выразил желание поступить на военную службу. Гребец вельбота сделался военным моряком.

Фрегат не торопился домой. Корабль побывал у берегов Маркизова архипелага, Таити, в Вальпараисо, Кальяо, Рио-де-Жанейро и лишь потом направился в Бостон. Военно-морская служба Мелвилла растянулась на полтора года. Флотское лихо оказалось не слаще китобойного, и Мелвилл был рад оставить службу. 14 октября 1844 года он был вчистую уволен и отправился в Лансинбург, где жили мать с сестрами. Все вернулось на круги своя: Мелвилл снова был дома, без работы и почти без денег. Единственное, что он приобрел, – это жизненный опыт и огромный запас впечатлений, которыми охотно делился с друзьями, родными и знакомыми.

* * *

Биографам не удалось установить, кто был тот умный человек, который посоветовал Мелвиллу написать книгу о своих приключениях. Известно лишь, что такой человек нашелся и что Мелвилл внял мудрому совету. Предметом повествования он избрал наиболее экзотический эпизод своих странствий – жизнь у каннибалов – и рьяно взялся за дело. Голова Мелвилла была полна воспоминаний и впечатлений, но руки более привыкли к обращению с канатами, веслами, якорными цепями и с трудом удерживали перо. Поначалу ему казалось, что написать

книгу несложно: садись, вспоминай и пиши. Но вскоре его со всех сторон обступили чисто писательские заботы: проблемы общей структуры книги, жанра, сюжета, языка, стиля. Мелвилл решил построить свое сочинение по образцу распространенного тогда «описания путешествий» и тут же обнаружил, что ему не хватает материала. Начинающему автору пришлось засесть за труды по истории, географии, этнографии, ознакомиться с записками путешественников, трактатами миссионеров, воспоминаниями мореплавателей. На его столе громоздились кипы романов, повестей, рассказов, английские и американские журналы и орфографические словари.

Уже тогда у Мелвилла возникла потребность в осмыслении и обобщении опыта, своего и чужого, жизненного и книжного. Он начал читать труды философов, теологов, моралистов, постепенно вырабатывая собственное представление о мире и человеке. Этапы этого процесса зафиксированы в его книгах.

Далее все происходило, как в волшебном сне. Мелвилл отдал рукопись своему старшему брату Гансворту, который получил назначение на должность секретаря американской «легации» в Англии. Прибыв в Лондон, Гансворт с чисто американской непосредственностью отправился к крупнейшему английскому издателю Джону Меррэю. Тот познакомился с рукописью и согласился ее опубликовать. Это произошло 3 декабря 1845 года. Спустя два с половиной месяца Меррэй выпустил английское издание «Тайпи». Узнав о том, что рукопись принял «сам Меррэй», американский издатель Дж. Патнэм, пренебрегши правилом не печатать американских авторов, пока они не получают одобрения английских критиков, решился выпустить американское издание книги Мелвилла, которое и увидело свет в марте 1846 года.

Мелвилл молниеносно прославился как «человек, который жил среди каннибалов». Его книгу читали, о ней спорили, английские и американские журналы печатали рецензии на «Тайпи». Молодого автора хвалили и ругали (часто за одно и то же). Появились первые переводы на иностранные языки. Пока все это происходило, Мелвилл, уверовавший в свое писательское дарование, принялся за вторую книгу («Ому»), которую завершил к концу 1846 года. Рукопись была немедленно принята к изданию в Англии и в США, а Мелвилл тем временем уже трудился над третьей книгой («Марди»).

Мелвилл вступил на тернистую стезю профессионального литератора. Среди выдающихся американских писателей того времени почти не было профессионалов, то есть людей, живших только на литературные заработки. У всех были дополнительные источники дохода: Купер был землевладельцем, Ирвинг – дипломатом, Готорн – таможенным чиновником в Бостоне, смотрителем сейлемского порта, а затем консулом в Ливерпуле, Лонгфелло – университетским профессором. Единственное исключение составляет Эдгар По, который жил исключительно литературным трудом и умер в нищете. Оптимистическим прогнозам Мелвилла тоже не суждено было осуществиться. Вечная борьба с «дьяволом нищеты», который постоянно «околачивался возле дверей», истощила его силы, и он оставил карьеру литератора. Но это случилось потом, лет через десять-двенадцать. А пока, уповая на удачу, он начал устраивать жизнь заново: перебрался в Нью-Йорк, женился и, что самое важное, с головой окунулся в литературную жизнь Нью-Йорка – этой «литературной столицы США».

* * *

В одном из писем к Готорну Мелвилл писал: «Все мое развитие совершилось за последние несколько лет. Я – словно семя, найденное в египетской пирамиде. Три тысячи лет оно было только семенем и больше ничем. Теперь его посадили в английскую почву, оно проросло, зазеленело... Так и я. До двадцати пяти лет я не развивался совсем. Свою жизнь я исчисляю с этого возраста...» Переведя цифры в биографические даты, легко увидеть, что Мелвилл свя-

зывал начало своего развития с работой над «Тайпи», переездом в Нью-Йорк и приобщением к американской литературной жизни.

Многочисленные критики, пытавшиеся представить Мелвилла «одиноким гением», отключенным от чаяний и надежд своего времени, от общественной, политической и литературной борьбы эпохи, либо добросовестно заблуждались, либо сознательно искажали факты в угоду предвзятой концепции. Понять характер и направление внутреннего развития Мелвилла отдельно от жизни Америки сороковых годов попросту невозможно, а жизнь эта была полна противоречий и парадоксов.

К тому времени, когда Мелвилл ступил на литературное поприще, американский романтизм уже миновал первый этап своей истории. Старшее поколение (В. Ирвинг, Д.Ф. Купер, У. Симмс, У. Брайант, Д. Уиттьер) еще не ушло со сцены, а на смену уже явились новые имена (Р. Эмерсон, Г. Торо, Г. Лонгфелло, Э. По, Н. Готорн). Главная задача американских романтиков на раннем этапе заключалась в том, чтобы «открывать Америку». Все они были вовлечены в мощный поток нативизма – культурного движения, смысл и пафос которого заключался в художественно-философском освоении Америки, ее природы, истории, общественных институтов, ее нравов. Литература двадцатых-тридцатых годов открывала для читателей мир бескрайних прерий и девственных лесов, могучих рек и водопадов, показывала ему быт и нравы старинных голландских поселений, развертывала перед ним героические страницы Войны за независимость, рассказывала о событиях колониальной истории Америки, рисовала картины жизни на табачных плантациях Юга. Нативизм способствовал формированию общей концепции Америки в сознании американцев. Без этого невозможно было бы становление национального самосознания и, следовательно, национальной литературы.

Однако в процессе художественного освоения американской действительности романтики первого поколения с тревогой обнаружили, что историческое развитие молодого государства фатальным образом «уклоняется» от просветительских мечтаний «отцов-основателей», что оптимистические прогнозы не сбываются, просветительские лозунги искажаются, демократические идеалы выхолащиваются. Экономическому прогрессу сопутствовали кризисы; «народовластие» уживалось с рабовладением; героическое освоение новых территорий пионерами сопровождалось хищническим разграблением естественных богатств, а сами эти земли становились предметом спекуляции; право человека на «жизнь, свободу и стремление к счастью», записанное в Декларации независимости, не мешало правительству жестоко истреблять индейские племена; коррупция проникла во все эшелоны власти, включая самые высокие; ложь, клевета, демагогия стали «нормальными» методами политической борьбы; фетишизация богатства достигла небывалых высот.

Однако ранние романтики не усомнились ни в основных принципах буржуазной демократии, ни в благотворности капиталистического прогресса, ни в политических институтах Соединенных Штатов. Им казалось, что нравственная болезнь («моральное затмение» в терминологии Купера), поразившая американцев, занесена извне и вполне излечима. Достаточно лишь вскрыть пороки, изобличить недостатки и «отклонения» от здоровой нормы и тем содействовать их ликвидации. Именно с этим связано возникновение романтических утопий, сделавшихся неременным атрибутом американской литературы вплоть до Гражданской войны. Писатели творили некий (чисто условный) социальный и человеческий идеал, на фоне которого пороки реального бытия Америки высвечивались бы с особенной ясностью. Таков был мир старинных поселений Новых Нидерландов у Ирвинга или мир Кожаного Чулка, мудрой природы и благородных индейцев, живших в полном согласии с нею, у Купера.

В сороковые годы вышеуказанные тенденции в американской экономической и социально-политической жизни значительно усилились. Кризис 1837 года потряс экономику страны и вызвал к жизни многочисленные радикально-демократические движения. Обострились противоречия между Севером и Югом. Усилились экспансионистские настроения. Захват

новых земель мыслился многими как выход из положения. В 1846 году Америка начала первую и, увы, не последнюю в своей истории захватническую войну.

В этих обстоятельствах романтическая утопия не утратила своего значения как орудие критики современных нравов и порядков. И вполне понятно, почему Мелвилл включился в литературную традицию, которая насчитывала уже более двух десятилетий: она еще далеко не исчерпала себя.

На первый взгляд «Тайпи» – это честное и несколько наивное описание приключений американского матроса-китобоя, оказавшегося пленником каннибалов. Основное место в книге занимают бесхитростные наблюдения автора над нравами, обычаями, образом жизни полинезийских дикарей. Однако если присмотреться повнимательней, то нетрудно убедиться, что повествователь-матрос не так уж бесхитростен, как хочет казаться. Большая часть того, что он рассказывает, – правда, но далеко не вся правда. Картина жизни Тайпи, представленная им, явно идеализирована и неполна. Она нарисована по принципу оппозиции порокам американской буржуазной цивилизации. Контраст между «идеальностью» людоедов и порочностью буржуазного общества проходит красной нитью через все повествование, превращая его в классический образец романтической утопии.

* * *

Мелвилл принадлежал ко второму, младшему, поколению американских романтиков. У этого поколения были свои идеи и свои понятия о целях и задачах художественного творчества. Внутри романтического движения сформировались группы и объединения («Никербокеры», «Молодая Америка», «Трансценденталисты» и т.п.), ожесточенно полемизировавшие друг с другом. Литературная борьба сблизилась с политической, и партийные задачи оказались неотъемлемой частью эстетических принципов и программ.

В середине сороковых годов Мелвилл связал свою творческую судьбу (хоть и не очень надолго) с деятельностью «Молодой Америки» – литературно-политической группировки, выступавшей за всестороннюю демократизацию национальной жизни, в том числе и литературы. Устремления младоамериканцев были близки Мелвиллу, хотя в его отношении к соратникам был оттенок скептицизма и легкой иронии. Костяк группировки составляли писатели, публицисты, критики, для которых понятие «народ» обладало известной долей абстрактности. Они думали о народе, трудились на благо народа, но сами стояли «отдельно» от народа. Мелвиллу же изначально было свойственно уитменовское ощущение слитности с народом. Потребности народа не составляли для него загадки: он ступил на литературную «палубу» из матросского кубрика, он сам был народ. У него были все основания назвать себя «беспощадным демократом».

Важность приобщения Мелвилла к деятельности «Молодой Америки» состояла в другом: он включился в литературную жизнь и борьбу эпохи, начал осознавать ответственность писателя, вырабатывать собственную точку зрения на общий характер социально-исторического развития Америки и на роль искусства в этом развитии.

Здесь, по-видимому, уместно охарактеризовать некоторые черты мировоззрения Мелвилла, хотя задача эта содержит почти непреодолимые трудности. И дело не только в том, что Мелвилл не оставил теоретических трудов и единственным источником сведений для нас могут служить его художественные произведения, но главным образом в том, что мировоззрение писателя являло собой не завершенную стабильную систему, а неостановимый мыслительный процесс. С одной стороны, изучая и наблюдая конкретную действительность, Мелвилл искал в ней проявления общих законов, что и объясняет его неудержимую тягу к символическим обобщениям. Нередко «открытые» им законы оказывались в противоречии друг с другом, и это опять-таки вело к появлению сложных, внутренне противоречивых символов. С другой

стороны, Мелвилл пытался постигать реальность посредством наложения на ее хаотическое движение устойчивых представлений и философских категорий, выработанных человеческой мыслью на протяжении долгих столетий. Его можно было бы причислить даже к идеалистам кантианского типа, если бы не одно существенное обстоятельство: Мелвилл смутно подозревал, что сами человеческие представления есть особая форма отражения реального бытия. Мысль об этом прорывается во многих его сочинениях и особенно явно – в «Моби Дике».

Подобно некоторым своим современникам – Эмерсону, По, Готорну, Уитмену, – Мелвилл был романтическим гуманистом и центральным ядром мироздания полагал человеческое сознание как триединство интеллекта, нравственного чувства и психики. Вместе с тем он не был похож на других. Эмерсон видел в человеческом сознании частицу «мировой души» и на этом основании строил свою оптимистическую теорию «доверия к себе». Готорн считал, что душа человеческая являет собой нерасторжимое единство Добра и Зла и что всякая попытка ликвидировать Зло неизбежно ведет к уничтожению Добра. В его мировоззрении оптимизм присутствовал в микроскопических дозах. Эдгар По при всем своем преклонении перед могуществом интеллекта был пессимистом, ибо основной чертой сознания полагал нестабильность психики, искажающую деятельность разума и нравственное чувство. Мелвилл тоже был пессимистом, но совершенно иного толка. Он не верил в существование эмерсоновской «сверхдуши», не соглашался с метафизическими представлениями об извечном Зле в душе человека или о врожденной нестабильности психики. В его мирозерцании мы находим в качестве высших ценностей бескомпромиссный демократизм, идею всеобщего равенства рас и народов, высокое достоинство Труда и безграничное уважение к Труженику. В этом смысле Мелвилл был близок к молодому Уитмену – автору первой редакции «Листьев травы». Однако при всей своей склонности к универсальным обобщениям и символическим абстракциям сознание Мелвилла обладало известной историчностью. Признавая здоровую основу «души народа», Мелвилл говорил о пагубном воздействии на нее буржуазной цивилизации, в особенности буржуазной этики. Он не видел способа остановить этот разрушительный процесс. Отсюда его неповторимый, так сказать, «фундаментальный» пессимизм. Расхождения между идеалом и действительностью, между «нравственной моделью» и практикой социального поведения соотечественников, осознанные писателем достаточно рано, дали определенное направление его интеллекту. Он двинулся по пути художественного исследования всеобщих законов и сил, регламентирующих и направляющих человеческую деятельность. Это был путь к «Моби Дику».

Первой ступенькой на этом пути явился роман «Марди» – сочинение, в котором Мелвилл потерпел сокрушительное поражение как художник. Книга оказалась перенасыщена сведениями из области истории, философии, социологии, политики, эстетики. Информация была обильна, но плохо переварена и бессистемна. Мелвиллу не удалось найти адекватной формы для ее художественного осмысления. Книга производила странное впечатление. Да и сегодня, знакомясь с ней, трудно поверить, что ее создал большой мастер. В ней нет сюжетного единства, жанровой цельности, характеры героев абстрактны и условны, как условна и действительность, их окружавшая.

Неудачу «Марди» отчасти можно объяснить писательской неопытностью Мелвилла. Но главная причина заключалась, видимо, в том, что Мелвилл слишком прямолинейно истолковал один из кардинальных принципов романтической эстетики, в соответствии с которым воображение определялось как кратчайший путь к познанию высшей истины. Молодой Мелвилл споткнулся на том же, на чем двумя десятилетиями ранее споткнулся Эдгар По, погубивший прекрасный замысел поэмы «Аль Аарааф», пытаясь создать «мир чистого воображения» путем изъятия из него «всего земного». Оказалось, что воображение не может работать в отрыве от земного материала, не может создавать что-либо из «ничего», и По оставил поэму незавершенной. Примерно то же произошло и с Мелвиллом. Он, правда, довел повествование до конца, но

вынужден был перевести его в условно-аллегорический план, что не спасло положения: эстетический ущерб оказался непоправимым.

Так же, как и По, Мелвилл извлек урок из неудачи. Он понял, что управляющие жизнью законы могут быть доступны человеческому сознанию только через их проявление в конкретных реальностях бытия, и задача писателя заключается в том, чтобы постигать общее в частном, представлять конкретное движение жизни так, чтобы в нем просматривалось, открывалось действие всеобщих законов во всей их сложности и противоречивости.

* * *

Неуспех «Марди», конечно, огорчил Мелвилла, но не обескуражил. Едва завершив рукопись и отправив ее к издателям, Мелвилл вновь вернулся к письменному столу и принялся разрабатывать замыслы, зародившиеся у него еще в ходе сочинения неудачного романа. Результатом явились две книги совершенно иного направления – «Редберн» и «Белый Бушлат». Они неравноценны. «Белый Бушлат» – вершина американской маринистики сороковых годов, книга, пропитанная духом демократизма, сосредоточенная на важных социальных проблемах времени, насыщенная острыми и гневными инвективами против установившегося порядка вещей в государстве и на флоте. Что же касается «Редберна», то это, так сказать, подступы к «Белому Бушлату». Здесь в зародыше можно обнаружить многое из того, что развернется в полную силу в последующих сочинениях Мелвилла.

И «Белый Бушлат», и «Редберн» свидетельствуют о том, что Мелвилл отвернулся от принципа «чистого воображения» и осознал его бесплодность. Он вновь обратился к собственному жизненному опыту и к книгам. Воображению же была отведена иная роль: связывать факты в систему, проникать под их поверхность, улавливать их закономерность и глубинный смысл. Мелвиллу стала очевидна многозначность фактов и возможность интерпретации действительности на многих уровнях. Отсюда общие сдвиги в поэтике мелвилловской прозы, почти полное исчезновение аллегорического начала и стремительное нарастание романтической символики. Все это можно обнаружить в «Редберне» и «Белом Бушлате», а затем, в полном расцвете, в «Моби Дике».

Напомним, что раннее творчество Мелвилла развивалось в рамках нативизма и утопического романтизма. Правда, Мелвилл не посягал на изображение прерий, лесов, озер и водопадов. Не привлекали его и события далекого прошлого. Его Америкой была корабельная палуба. И дело здесь не только в жизненном опыте писателя, но еще и в том, что морская жизнь была важной частью национальной действительности.

Америка изначально была страной моряков. Все ее торговые, экономические, политические и культурные связи с миром осуществлялись через Атлантику и Тихий океан. Даже внутренние коммуникации ввиду отсутствия дорог, каналов и мостов через реки пролегали по морям. Отсюда огромное количество каботажных судов и внушительные размеры океанского торгового флота. Не забудем также, что в Америке тех времен не было развито скотоводство и не открыты еще были залежи нефти. Потребность в мясе, жирах, коже, горюче-смазочных материалах удовлетворялась в основном за счет китобойного промысла. Китовый жир шел в пищу и для смазки машин, из китовой шкуры изготавливались приводные ремни (почти вся промышленность работала на водной энергии) и подошвы для обуви, вечера и ночи американцев проходили при свете спермацетовых свечей. Неудивительно, что из 900 судов мирового китобойного флота 735 принадлежали американцам. Если к сказанному прибавить, что Соединенные Штаты располагали значительным военным флотом, то станет понятно, почему корабельная палуба могла с полным основанием рассматриваться как существенная часть национальной действительности и почему именно Америка явилась родиной морского романа и вообще литературной маринистики.

Почти все романы Мелвилла («Марди», «Редберн», «Белый Бушлат», «Моби Дик», «Израиль Поттер»), некоторые повести («Бенито Серено», «Энкантадас», «Билли Бадд») и ряд стихотворений (сборник «Джон Марр и другие матросы») могут быть целиком или частично причислены к морским жанрам. Это логично. Мореплавание было той сферой бытия, которую Мелвилл знал лучше всего.

«Белый Бушлат» – морской роман, повествование о буднях военно-морского флота США, осмысленных с позиций романтической идеологии. Сочинение Мелвилла окончательно утвердило господство нового направления в американской литературной маринистике, пришедшего на смену традиции, заложенной Купером еще в двадцатые годы.

Купер был первопроходцем. Его не напрасно называют «отцом» морского романа. Однако специфическая атмосфера американской духовной жизни двадцатых годов, пронизанная патриотическим пафосом, наложила существенный отпечаток на эстетику куперовского морского романа. Купер «отключил» корабль от национальной действительности, вывел морскую жизнь из-под власти социальных законов, идеализировал и героизировал «морские» характеры. Корабль в его романах – истинный и единственный дом моряка, предмет привязанности, любви и эстетического любования; море – прекрасный и грозный противник в благородной борьбе человека. В произведениях Купера не было места для изображения тягот морской службы, корабельного быта, самодурства капитанов и жестокости офицеров, палочной дисциплины и беспорядка матросов.

В Америке двадцатых-тридцатых годов у Купера оказалось множество подражателей. Но куперовская традиция исчерпала себя почти сразу. В американской маринистике тридцатых годов отчетливо обозначилось новое, антикуперовское направление. Новизна его заключалась в отказе принять куперовский общий взгляд на морскую жизнь. Корабельную палубу стали воспринимать как участок национальной действительности с ее социальной дифференциацией и антагонистическими противоречиями. Исчезло понятие моряка вообще. Оно заместилось понятиями «матрос», «боцман», «офицер». Соответственно стали разниться и представления о морской службе. У матроса они были иными, нежели у офицера.

Волна радикально-демократических движений, охватившая Америку на рубеже тридцатых-сороковых годов и оказавшая существенное воздействие на литературу, способствовала тому, что в маринистике на первый план выдвинулась фигура рядового матроса. Новую ситуацию первым осознал Р. Г. Дейна (младший), который опубликовал в 1840 году повесть с нарочито неловким названием «Два года рядовым матросом». Она была воспринята писателями-маринистами как манифест и на долгие годы определила характер американской морской прозы. За Дейной пошли десятки писателей. В их числе был и Мелвилл. Его «Белый Бушлат» – книга о бесчеловечности флотских установлений, о трагической судьбе и горькой участи рядовых матросов, книга, заряженная социальным пафосом и реформаторским духом, – стал вершиной американской маринистики десятилетия. Это была последняя ступень перед «Моби Диком».

* * *

В конце 1849 года, завершив работу над «Белым Бушлатом», заключительные главы которого писались уже на пределе сил, Мелвилл «сбежал» в Европу под предлогом необходимости переговоров с лондонскими издателями. Он побывал в Париже, Брюсселе, Кельне, Рейнской области и в Лондоне. 1 февраля 1850 года Мелвилл вернулся в Нью-Йорк и принялся за «Моби Дика», замысел которого в общих чертах уже сложился у него к этому времени. Прошло полгода, мучительных и тяжелых, прежде чем он окончательно убедился, что работать в существующих бытовых обстоятельствах невозможно. На деньги, взятые в долг у тестя, он купил

ферму «Эрроухед» (неподалеку от маленького городка Питтсфилд) и в сентябре перебрался туда со всем семейством.

С переездом на ферму участие Мелвилла в литературной и общественной жизни страны отнюдь не прекратилось. Он сохранил связи с «Молодой Америкой», часто наезжал в Нью-Йорк, а младоамериканцы посещали его в Питтсфилде. Он продолжал сотрудничать в журналах и активно выступать в защиту национальной литературы. Важное значение имело и то, что в пяти милях от фермы Мелвилла (в Леноксе) примерно в это же время обосновался Натаниель Готорн, с которым Мелвилл свел знакомство, переросшее вскоре в тесную дружбу. Их регулярные встречи и переписка, долгие беседы о литературе, обмен мнениями по насущным вопросам общественной, политической и духовной жизни Америки, обсуждение чисто профессиональных писательских проблем – все это сыграло важную роль в творческой эволюции обоих, особенно Мелвилла, который был пятнадцатью годами моложе Готорна. На какое-то время Питтсфилд стал одним из центров романтического искусства Америки. Здесь в пятидесятом – пятидесят первом годах создавались два выдающихся произведения романтической литературы – «Дом о семи фронтонах» Готорна и роман о Белом Ките.

У мелвилловского шедевра сложная творческая история. Попытки восстановить ее, опираясь на переписку Мелвилла, дают нам картину приблизительную, неполную, хотя в общих чертах достоверную. Судя по всему, писатель замыслил создать еще один морской роман, посвященный на сей раз китобойному флоту. Он должен был как бы заключать морскую трилогию («Редберн», «Белый Бушлат», «Моби Дик»), охватывающую все виды мореплавания в Америке XIX столетия. По-видимому, Мелвилл хотел написать приключенческий роман о китобойном промысле, но вместе с тем книгу, материал которой допускал бы широчайшие обобщения экономического, социального, политического, философского характера, затрагивающие всю жизнь Соединенных Штатов, а может быть, и всего человечества. В этом первоначальном замысле уже была заложена неизбежность усиления символического начала в мелвилловском романтизме, которая реализовалась в окончательном тексте романа.

Однако путь к окончательному тексту был нелегок. Финансовые трудности держали писателя в тисках. Долги росли, как снежный ком. Мелвилла не покидала мысль о необходимости коммерческого успеха. Памятуя об уроках «Марди», он держал в железной узде свою склонность к отвлеченным построениям и запирал крепкими шлюзами поток обобщающей философской мысли. Он должен был написать популярный приключенческий роман, хотя все в нем, включая присущее ему чувство ответственности писателя перед временем, историей, обществом, протестовало против этого. В письмах к Готорну Мелвилл жаловался, что не имеет права писать так, как ему хочется, но и «писать совершенно иначе тоже не в состоянии». Так длилось довольно долго. Писатель сражался не столько с Белым Китом, сколько с самим собой, и, кажется, даже побеждал себя. Во всяком случае, осенью 1850 года он писал издателям, что надеется в ближайшее время представить рукопись.

Далее начинается «темный» период в истории романа. Мелвилл не представил рукопись «в ближайшее время». Он продолжал трудиться над ней еще почти год, и в результате получился не популярный приключенческий роман, а нечто совершенно иное – грандиозное эпическое полотно, воплотившее в сложнейшей системе символов настоящее, прошлое и будущее Америки.

Что же случилось? Что побудило Мелвилла «открыть шлюзы» и выпустить рвавшиеся на волю мысли, идеи, образы? Среди историков литературы существуют всякие предположения. Некоторые критики ищут объяснения во влиянии Готорна, другие говорят о воздействии шекспировских трагедий, которые Мелвилл читал, работая над «Моби Диком», третьи видят причину в общем характере социально-исторического развития Америки, в политической атмосфере того времени. Думается, что правы именно третьи, невзирая на то, что следы влияния Готорна и шекспировского наследия видны в тексте вполне отчетливо.

Напомним, что к середине века социально-экономические, политические, идеологические противоречия в жизни Соединенных Штатов достигли беспрецедентной остроты. В сентябре 1850 года конгресс под давлением южан принял бесчеловечный закон о беглых неграх, как бы распространив статус рабовладельческого общества на всю страну. Страна всколыхнулась. Аболиционистское движение приняло массовый характер. Народ митинговал, протестуя против варварских актов правительства. Антирабовладельческая тема ворвалась в литературу и заняла в ней господствующее положение: Бичер Стоу взялась за «Хижину дяди Тома», Р. Хилдрет – за переделку «Арчи Мура» («Белый раб»), Джон Уиттьер клеймил рабовладение в страстных стихах. Брошюры, памфлеты, листовки печатались тысячами. Генри Торо произнес (а затем и напечатал) знаменитую речь «Рабство в Массачусетсе», где отрекался от своей родины... Этот перечень можно было бы продолжить, называя имена известных и не очень известных писателей, публицистов, философов... Америка напоминала паровой котел, в котором давление далеко превысило допустимые нормы, а стрелка манометра ушла за красную черту, предвещая скорый взрыв. Страна катилась к гражданской войне, незаметно для себя перевалив тот рубеж, когда обратно пути уже нет. Мелвилл, разумеется, этого не знал, но ощущение его было верным: он предвидел катастрофичность ближайшего будущего. А потому было чрезвычайно важно установить причину всех причин, понять, какие законы, силы или, может быть, Высшая Воля направляют поступки человека, народов, государств. На что могут рассчитывать американцы в момент кризиса?

В свете этих обстоятельств все соображения относительно популярности и коммерческого успеха утрачивали силу, отступая перед социальной ответственностью писателя. Мелвилл начал перестраивать роман. Идеологический материал был огромен. Ни одна из существующих художественных структур не могла бы его выдержать. Потребовался новый, доселе неизвестный тип повествования, который мы условно назовем синтетическим романом. Конечно, «Моби Дик» – это приключенческий роман, но также и «производственный», «морской», «социальный», «философский» и, если угодно, «роман воспитания». Все эти аспекты не соседствуют в книге, не сосуществуют, но проросли друг в друга, образуя нерасторжимое целое, пронизанное сложнейшей системой многозначных символов. К сказанному добавим, что повествование связано единой стилистикой (в ней как раз и ощущается влияние Шекспира и Готорна), сцементировано неповторимым мелвилловским языком, которые критики охотно уподобляют океанской волне.

Общепризнано, что «Моби Дик» – одна из вершин романтического символизма в американской, да, пожалуй, и в мировой литературе. Сложнейшая система символов образует, так сказать, эстетический фундамент романа. Все в нем – события, факты, авторские описания и размышления, человеческие характеры – имеет, кроме прямого, поверхностного, еще и главный, символический смысл. Среди критиков царит также полное согласие относительно того, что мелвилловские символы характеризуются универсальностью и высокой степенью отвлеченности. При этом из поля зрения уходит тот факт, что символика в «Моби Дике», при всей ее абстрактности, вырастает непосредственно из современной писателю социально-политической действительности.

Обратимся к группе символов, сопряженных с плаванием «Пекода». Сам «Пекод» в его символическом значении не требует каких-либо усилий при истолковании. Корабль-государство – символ традиционный, известный литературе еще со времен Средневековья. Но в «Моби Дике» он существует не сам по себе. Успех или неуспех плавания корабля зависит от многих моментов, но прежде всего от трех персонажей: судовладельца Вилдада, капитана Ахава и его старшего помощника Старбека. Вилдад стар. Он – набожный стяжатель и лицемер – классический образец старого пуританина. В нем почти не осталось энергии, а та, что сохранилась, уходит в скопидомство. Старбек тоже благочестив и набожен, но не лицемерен. Он опытный моряк и искусный китобой, но в нем нет инициативы и размаха. Он не очень уверен в себе и в

своих жизненных целях. Наконец, Ахав – характер сложный, противоречивый, многозначный. В нем сплавлены романтическая таинственность, непредсказуемость поступков, фанатическая ненависть ко злу и безграничная способность творить его, маниакальное упорство в стремлении к поставленной цели и способность пожертвовать ради ее достижения кораблем, жизнью команды и даже собственной жизнью. Для Ахава не существует преград.

Различие этих характеров очевидно, но, чтобы понять их истинный смысл и значение в повествовании, необходимо обратить внимание на то, что их объединяет: они все – новоанглийские квакеры, потомки первых поселенцев, наследники «пионеров». И это знаменательно. Мелвилл всегда питал особенный интерес к Новой Англии, и не только потому, что сам был потомком пуритан. В Новой Англии ему виделся, и совершенно справедливо, гегемон социально-исторического прогресса Америки. Новая Англия задавала тон во многих областях национальной жизни и особенно в экономике. Именно эта группа штатов первой стала на путь промышленно-капиталистического развития. Судьба нации во многом зависела от того, что подумают или сделают жители Массачусетса, Нью-Гемпшира или Коннектикута. Отсюда повышенный интерес писателя к новоанглийским устоям, нравам, характерам. В свете сказанного характеры трех новоанглийских квакеров в романе обретают дополнительное символическое значение. Вилдад, с его благочестием, беззастенчивой жадой наживы, нежеланием рисковать, старческим бессилием и мелочностью, символизирует вчерашний день Новой Англии, ее прошлое. Риск, далекие плаванья по бурным морям – не для него. «Пекод» уходит в рейс, Вилдад остается на берегу. Старбек – это сегодняшний день и, как всякий сегодняшний день, несколько смутен. Он может вывести корабль в плавание, но ему незнакомо ощущение великой цели. Он безынициативен и не способен уйти из-под власти вчерашнего дня. Он обязательно привел бы «Пекод» назад к Вилдаду. Иное дело Ахав. Его образ может быть соотнесен с деятелями новой формации, которая складывалась в середине XIX века, когда новые «пионеры» уже не расчищали лесов под посевы, не оборонялись от индейцев и хищных зверей, укрывшись за деревянным частоколом. Они строили заводы и фабрики, корабли и железные дороги. Они торговали с целым светом и открывали банки в американских городах. Они были лидерами прогресса, способствовали экономическому процветанию родины (во что бы это процветание ни обходилось народу) и считали себя солью земли. В их мире бизнес был верховным властью, обогащение – высшей целью, в жертву которой приносилось все, в том числе и человеческая жизнь. Конечно, Ахав не бизнесмен и не «капитан индустрии». Эти герои появятся позже в творчестве Норриса, Драйзера, Синклера Льюиса и др. Но его целеустремленность, способность перешагнуть через любые препятствия, его умение не смущаться понятиями о справедливости, отсутствие страха, жалости, сострадания, его отвага и предприимчивость, а главное, размах и железная хватка – все это позволяет видеть в нем «пророческий образ будущих строителей империи второй половины века»,² каждый из которых преследовал своего Белого Кита, преступая юридические, человеческие и божеские законы.

Другая группа символических значений связана с фанатическим безумием капитана Ахава, погубившего доверенный ему корабль и жизнь всей команды (за исключением Измаила). Фанатизм и безумие – не новые сюжеты для мировой литературы, да и в американской мы найдем немало сочинений, трактующих эти предметы, начиная от романов Брокдена Брауна и кончая рассказами По. Но вот что обращает на себя внимание: в творчестве американских романтиков на рубеже сороковых и пятидесятих годов проблема Зла, чинимого фанатиками во имя торжества Добра, и вообще проблема фанатизма заняла весьма важное место. Многие писатели обращались в эти годы к истории пуританских поселений Новой Англии, к тем ее эпизодам, когда религиозные фанатики, пытаясь истребить мнимое Зло, тем самым творили зло реальное и непоправимое. Не случайно Сейлемский процесс над «ведьмами» сделался

² Matthissen F.O. The American Renaissance. N.Y., 1941. P. 459.

модным сюжетом в литературе. Ему посвятили свои сочинения Лонгфелло, Мэтьюз, Готорн и другие писатели.

Понять природу интереса к проблеме фанатизма несложно, ибо в указанное время проблема эта имела не только нравственно-психологический, но и общественно-политический смысл. Основным конфликтом той эпохи был конфликт между Севером и Югом. К концу сороковых годов накал политических страстей достиг необычайно высокой степени. Южане с ожесточением дрались за новые территории и вынуждали конгресс к таким законодательным мерам, которые сулили выгоду плантационному хозяйству. Они были готовы на все, вплоть до государственного раскола и выхода южных штатов из Союза. В глазах Мелвилла они были фанатиками, готовыми в своем ослеплении погубить Америку. Не меньше пугали его и новоанглийские аболиционисты, которые вкладывали в дело освобождения негров весь свой пуританский пыл. Аболиционистов не могли остановить ни расправы, ни погромы, ни закон. Они уже ощущали сияние мученического венца над головой.

Известно, что Мелвилл был сторонником аболиционистов, хоть и не принадлежал к ним. Идея уничтожения рабства и расовой дискриминации была чрезвычайно близка ему. (Она тоже получила символическое отражение в романе.) Он понимал, что социальное Зло, конкретно воплощенное в рабовладельческой системе, было вполне реальным. Вместе с тем ему представлялось, что фанатизм в борьбе, даже если это борьба за правое дело, может привести к еще большему злу, к страшной катастрофе. Отсюда символика фанатического безумия. Ахав – сильный и благородный дух. Он восстал против мирового Зла. Но он фанатик, и потому его попытка достигнуть прекрасной цели оказалась гибельной.

Таким образом, мы видим, что, сколь бы сложной, абстрактной и «универсальной» ни была система символов в «Моби Дике», она имеет своим основанием живую реальность национальной жизни.

Художественное исследование, предпринятое Мелвиллом, привело его к неутешительным выводам. Если попытаться кратко сформулировать философские итоги «Моби Дика», то получится примерно следующее: в мире (и даже во вселенной) нет никакой высшей силы или провиденциальных законов, направляющих жизнь человека и общества и несущих за это ответственность. В борьбе со Злом у человека нет наставников и помощников. Ему не на что надеяться, разве что на себя. Это был чрезвычайно смелый вывод. Мелвилл «отменил бога». Недаром в письме к Готорну, написанном тотчас по окончании «Моби Дика», он заявил: «Я написал крамольную книгу...»

Современники не приняли творение Мелвилла. Они предпочли его «не понять», ссылаясь на «странную» и «туманную» философию, которой насыщено повествование. Поняли роман и приняли его – единицы. Среди них – Готорн. Так случилось, что Белый Кит лег на дно, с тем чтобы всплыть и продемонстрировать свою мощь лишь спустя три четверти века.³

* * *

«Моби Дик» был высшей точкой в творческой эволюции Мелвилла. Дальше начинается спад. Мелвилл не стал писать меньше. В ближайшее пятилетие он создал ряд повестей и рассказов (большая их часть собрана в книге «Веранда») и три романа. Но во всем этом не было уже прежней масштабности и глубины.

Среди разнообразных моментов, окрасивших жизнь Мелвилла после 1851 года, выделим два: одиночество и «эффект неудачи». Одиночество явилось следствием разного рода объективных обстоятельств: Готорн покинул Ленокс и перебрался в Вест-Ньютон, а затем в Конкорд; распалась «Молодая Америка»; неурядицы в домашней жизни способствовали некоторому

³ О романе «Моби Дик» см. также в послесловии к настоящему изданию.

отчуждению от семейных дел. Мелвилл никогда не был интровертом, погруженным в себя, и общение составляло важную часть его существования как писателя. Теперь он вынужден был замкнуться в себе. Это угнетало его. Одиночество среди людей стало подспудной темой многих его сочинений и особенно остро проявилось в повести «Писец Бартлби».

Что касается «эффекта неудачи», то здесь мы имеем дело с понятием достаточно сложным. Речь идет, разумеется, о неудаче «Моби Дика». Мелвилл вовсе не считал, что роман ему не удался, что он не сумел осуществить поставленной перед собой цели. Напротив, он был вполне удовлетворен результатами своего труда. Неудача состояла в другом: Америка не услышала пророчеств Мелвилла. Писатель не сумел «достучаться» до сознания соотечественников. Они не хотели или не могли его понять. Форма романа и впрямь была непривычной, но что мешало американским читателям воспринять необычность формы и нетрадиционность идей? Этот вопрос заставил писателя задуматься над двумя важными проблемами. Одна из них затрагивала область читательских вкусов. Как они возникают? Что их формирует? Другая – состоятельность той системы художественных принципов, на которую опирался Мелвилл и которую мы сегодня называем романтическим методом. Означенные проблемы легли в основу некоторых его рассказов (например, «Веранда» и «Скрипач») и романа «Пьер, или Двусмысленности».

«Пьер» совершенно непохож на все, что ранее выходило из-под пера Мелвилла. В нем читатель находил полный набор романтических и даже «готических» штампов: чудовищно запутанный сюжет, роковые страсти, убийства, самоубийства, мотивы кровосмесительной любви и т.п. И все это сопровождалось ироническим комментарием автора, который, с одной стороны, будто бы был вполне серьезен, а с другой – ни за что не хотел принимать всерьез поведение и мысли своих героев. У нас есть все основания считать «Пьера» злой пародией на популярную беллетристику середины века. Но этим дело не исчерпывается. «Пьер» – это еще и роман о литературе. Его герой – молодой писатель, пытающийся составить себе имя сочинением романов и повестей. Мелвилл проводит его через литературные кружки и салоны, через редакции и издательства, с тем чтобы привести к полному поражению. «Литературная» часть романа написана не менее зло, чем любовно-романтическая. И если последнюю мы можем назвать пародией, то первая вполне подходит под определение сатиры. Мелвилл не пощадил никого, не сделал даже исключения для «Молодой Америки», сатирическому изображению которой посвятил целую главу. В завершение характеристики романа добавим, что он весь пронизан самоиронией. Мелвилл занял здесь позицию «иронического романтика», то есть художника, который, по определению Ф. Шлегеля – одного из теоретиков немецкого романтизма, оказавшего сильное влияние на европейскую и американскую эстетику, – «с высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда и собственное искусство, и добродетель, и гениальность».⁴

Как художественное явление «Пьер» стоит невысоко и не прибавляет Мелвиллу писательской славы. Но дело даже не в этом. Ни один писатель не застрахован от неудачи. Существеннее здесь другое: в условиях Америки середины пятидесятих годов XIX века скептицизм романтической иронии вел к заключению о бессилии художника, о бессмысленности любых попыток говорить горькую правду, ибо люди, живущие по законам выгоды, не захотят ее понять. Не случайно в романе возникает тезис о бесполезности всех книг. По-видимому, тезис этот имеет некоторое отношение и к собственной писательской судьбе Мелвилла, который «замолчал» как прозаик через пять лет после публикации «Пьера».

⁴ Шлегель Ф. Из «Критических (Ликейских) фрагментов» // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 52.

* * *

В рассказах, повестях, романах середины пятидесятих годов Мелвилл постоянно обращался к проблемам, более всего тревожившим современников. Среди них на первое место выдвигались проблемы войны и рабства. Следует, однако, подчеркнуть, что трактовка их у Мелвилла носит своеобразный характер. Писатель отказывается рассматривать их в политическом или религиозном аспекте. Уроки «Моби Дика» не прошли для него даром. Он пришел к той же мысли, что и некоторые другие романтики (каждый своим путем), а именно: что будущее Америки зависит от общественного поведения американцев, которое определяется индивидуальной нравственностью и социальными нравами. На протяжении долгих лет два поколения романтиков занимались пристальным изучением американских нравов. Романтики младшего поколения по примеру своих старших собратьев вновь обратились к прошлому, к истории. Они возродили исторический роман, но придали ему совершенно новые черты. Их интересовали уже не героические страницы славного прошлого, а исторические корни современных нравов, происхождение той системы этических ценностей, которая могла погубить страну. Эталоном жанра стала «Алая буква» Готорна.

Единственный исторический роман Мелвилла «Израиль Поттер. Пятьдесят лет его изгнания», при всей его самобытности, явление вполне характерное. Это роман о войне, о солдатской судьбе, повествование на тему «победитель не получает ничего». Герой его – рядовой солдат, «творец независимой Америки», один из десятков тысяч добровольцев, отдавших родине все и не получивших никакой награды. Всю свою жизнь он провел в изнурительной борьбе за кусок хлеба и умер нищим.

Специфика «Израиля Поттера» как исторического повествования состоит в том, что события истории играют здесь второстепенную роль. Основное выражение авторская мысль получает через взаимодействие, а иногда – просто взаимоотношение характеров. Таких характеров в романе – четыре, и все они являются реальными историческими лицами. Это – безвестный солдат Израиль Поттер, ученый и дипломат Бенджамин Франклин, авантюрист и флотоводец Джон Поль Джонс и «герой Тикондероги», командир «Зеленых Горцев» Вермонта Итен Аллен.

Мелвилл исходил из представления, согласно которому всякая нравственность, индивидуальная и социальная, формируется на базе естественных этических склонностей человека или народа, подвергающихся воздействию определенных моральных концепций. Носителем естественной нравственной склонности в романе является заглавный герой – человек из народа: фермер, траппер, матрос. Он честен и трудолюбив. Он любит свою родину и готов отдать за нее жизнь и свободу. Он не спрашивает себя, за что он ее любит. Участие в Войне за независимость для него не есть исполнение долга или обязанности, но – естественная потребность. В нем есть некая внутренняя независимость, духовная свобода, определяющая его поступки и слова. Вместе с тем Израиль Поттер – это характер, почти лишенный индивидуальности. Он схематичен и до известной степени условен. По замыслу автора, он – не столько личность, сколько возможность личности. Он являет собой некую основу, на которой мог бы формироваться «идеальный» национальный характер. Его нравственность – естественная нравственность, и в таком виде не годится для общественного употребления, о чем и свидетельствует горькая его судьба.

Мелвилл полагал, что в современниках-американцах естественная нравственная основа исчезла под всевозможными наслоениями, глушившими внутреннюю свободу и независимость человека. Слишком много сомнительных «правил», слишком много ложных представлений о смысле человеческой деятельности нацелено на разрушение здоровой народной основы. О каких, собственно, правилах и представлениях идет речь? О тех самых, которые мы име-

нуем этикой буржуазного общества (или «делового мира») и которые впервые для своих соотечественников сформулировал Бенджамин Франклин. Не случайно Мелвилл в своем романе обошел вниманием многообразную деятельность Франклина как ученого, философа, просветителя, дипломата, сохранив за ним только одну роль – роль моралиста.

Франклиновская этическая система, являвшая собой альфу и омегу буржуазной морали XIX века, представлялась Мелвиллу огромной паутиной, опутавшей сознание соотечественников и не допускавшей свободного проявления естественного нравственного чувства. Мелвилл не был одинок в этом своем ощущении. Сошлемся хотя бы на пример Эмерсона и Торо, которые тоже были озабочены указанной проблемой. Теоретическое разрешение ее они связывали с концепциями «доверия к себе» (Эмерсон) и «пассивного сопротивления» (Торо). Мелвилл был знаком с этими концепциями и подверг их художественной проверке в одной из лучших своих повестей («Бартлби»), которую нередко сравнивают с творениями Гоголя и Достоевского. Проверка дала негативный результат. Герой, «доверившийся себе» и отважившийся на «пассивное сопротивление», погибает. Его антипод (рассказчик) – носитель франклиновской морали, глушащий голос естественной совести филантропическими деяниями, – благоденствует и процветает. Иными словами, Мелвилл не разделял трансцендентального оптимизма. Единственная призрачная надежда рисовалась ему в туманном облике «нового человека», который должен был явиться с далекого легендарного Запада.

* * *

Эти же самые проблемы, то есть проблемы нравственности и нравов в их соотносительности с общественной практикой, взятые в психологическом и философском аспекте, составляют содержание последнего, самого иронического, жестокого и пессимистического романа Мелвилла «Искуситель». Впрочем, трудно найти среди его сочинений пятидесятых годов такое, где они не присутствовали бы. Каковы бы ни были темы его рассказов и повестей – война («Израиль Поттер»), рабство («Бенито Серено», «Энкантадас»), назначение искусства и судьба художника («Веранда», «Скрипач», «Башня с колоколом») – все они трактуются преимущественно в нравственно-психологическом аспекте.

Закончив «Искусителя», Мелвилл почувствовал, что дошел до конца пути. Ощущение это было сложным. Им владела огромная усталость: за десять лет он написал девять романов и книгу повестей, не считая журнальных статей и очерков. Силы его подошли к концу. Но было тут и другое. Жизнь стремительно шла вперед, и романтический метод перестал справляться с материалом действительности. Мелвилл-романтик остро это почувствовал. Он попытался преодолеть кризис романтической идеологии, оставаясь в рамках романтического мышления. Из этого ничего не вышло. Ему казалось, что дальше пути нет. Отсюда ощущение, что жизнь прожита, хотя было ему всего тридцать семь лет. Отсюда же состояние депрессии, наложившееся на общую усталость.

Жена, братья и многочисленные родственники пришли к единодушному заключению: «Герман не должен больше писать». Великий бунтарь не взбунтовался против этого приговора. Все считали, что ему следует отдохнуть, совершить путешествие, а тесть даже дал денег (в долг, разумеется). Осенью 1856 года началось путешествие, которое длилось полтора года и осталось в памяти Мелвилла на всю жизнь. Запас впечатлений был огромен, но Мелвилл не очень понимал, что с ними делать. Он даже не вел записей.

Тем временем родственники и друзья развили кипучую деятельность в надежде раздобыть для Мелвилла какую-нибудь государственную должность, желательно по дипломатической линии. Отчего же нет? Ирвинг был послом в Мадриде, Купер – консулом в Лионе, Готорн – в Ливерпуле. Однако усилия оказались тщетны. Тогда родилась новая идея: Мелвилл должен выступать с лекциями, тем более что в те времена писательские лекционные турне

были делом широко распространенным. Чтение лекций (или отрывков из собственных произведений) было своего рода материальной помощью, дававшей литератору возможность продержаться от гонорара до гонорара. Мелвилл читал лекции в течение трех лет, совершая далекие поездки по городам провинциальной Америки. Позднее Мелвилл сделал еще несколько попыток поступить на государственную службу, но все они оказались безуспешны. Только в 1866 году он получил должность помощника инспектора нью-йоркской таможни. Началась новая, непривычная жизнь. Рано утром он уходил из дома и до вечера занимался досмотром грузов. В любой час дня и в любую погоду его можно было видеть в гавани или в таможенной конторе.

Таможенная служба длилась девятнадцать лет. Мелвилл ушел в отставку в 1885 году, за шесть лет до смерти. На поверхностный взгляд может показаться, что жизнь Америки и движение литературы катились мимо него, мало его задевая. Но это не так. Мелвилл остро переживал трагические повороты американской истории. Гражданская война и реконструкция Юга оставили тягостный след в его душе. Он отказался от статуса профессионального литератора, но не перестал быть писателем. Просто теперь он перестал зависеть от издательств и гонораров и не должен был оглядываться на вкусы публики. И писал он теперь немного – только в свободное время, а такого времени было мало.

Еще в конце пятидесятых годов Мелвилл начал писать стихи и писал их до самой смерти. Его поэтическое наследие образуют несколько стихотворных сборников («Батальные сцены и война с разных точек зрения» – 1866, «Джон Марр и другие матросы» – 1888, «Тимолон» – 1891), большая философская поэма «Клэрел» (1876) и множество разрозненных стихотворений, большинство из которых увидело свет лишь после смерти Мелвилла.

Поэзия Мелвилла в целом носит лирико-философский характер и в этом плане перекликается с поэтическим наследием Эмерсона. Однако в основе поэзии Мелвилла лежит не только абстрактное размышление, но и живая жизнь Америки того времени. Подтверждением тому служат стихи о Гражданской войне «Батальные сцены» и сборник «Джон Марр и другие матросы». Современники обратили внимание на необычность формы мелвилловского стиха, значительно отличавшейся от традиционной романтической поэтики и по структуре своей нередко приближавшейся к прозаической речи. Исследователи нашего времени, обладая преимуществом временной дистанции, без труда установили ее родственность «вольной» поэтике Уитмена. Стало ясно, что Мелвилл сказал новое слово и в поэзии. Недаром сегодня его стихотворные сборники переиздаются многотысячными тиражами.

Уйдя в отставку в 1885 году, Мелвилл вернулся к активной литературной деятельности. К этому времени у него накопилось множество набросков, заметок, незавершенных стихотворений. Он начал приводить их в порядок. Два сборника, «Джон Марр» и «Тимолон», ему удалось опубликовать при жизни. Как поэт Мелвилл не искал популярности. Он издал эти сборники за свой собственный счет тиражом 25 экземпляров. Остальное пролежало в его архиве более тридцати лет, прежде чем увидело свет.

«Лебединой песней» позднего Мелвилла явилась повесть «Билли Бадд, фор-марсовый матрос», над которой писатель начал работать в 1888 году. Он завершил ее незадолго до смерти. «Билли Бадд» во многом напоминает повести Мелвилла пятидесятых годов, такие, как «Бенито Серено» или «Писец Бартлби». Писатель вновь обратился к нравственно-философскому истолкованию бытия человека и общества. Однако сорок лет, прошедшие со времени «Бенито Серено», – а за это время в Америке случилось многое, в том числе Гражданская война, – существенно повлияли на представления Мелвилла, на его понимание социальной этики. Неудивительно, что разрешение центрального конфликта между человечностью и законом в «Билли Бадде», если рассматривать его в одном ряду с ранними повестями, поражает неожиданностью. В конфликте между природой человека и юридическим законом Мелвилл оказался на стороне закона, что совершенно противоречило всем традициям романтической идеологии. Это был уже другой Мелвилл.

«Билли Бадд» разделил судьбу многих сочинений позднего Мелвилла. Он был впервые напечатан в 1924 году и тут же признан одним из высших достижений американской «мало-форматной» прозы. Такая оценка никого не удивила. К этому времени Мелвилл уже занял подобающее ему место в американской литературе.

Ю. Ковалев

Моби Дик, или Белый Кит

*Натаниэлю Готорну в знак преклонения перед его гением
посвящается эта книга*

Этимология

(Сведения, собранные Помощником учителя классической гимназии, впоследствии скончавшимся от чахотки.)

Я вижу его как сейчас – такого бледного, в поношенном сюртуке и с такими же поношенными мозгами, душой и телом. Он целыми днями стирал пыль со старых словарей и грамматик своим необыкновенным носовым платком, украшенным, словно в насмешку, пестрыми флагами всех наций мира. Ему нравилось стирать пыль со старых грамматик; это мирное занятие наводило его на мысль о смерти.

«Если ты берешься наставлять других и обучать их тому, что в нашем языке рыба-кит именуется словом whale, опуская при этом, по собственной необразованности, букву h, которая одна выражает почти все значение этого слова, ты насаждаешь не знания, но заблуждения».

Хаклюйт

Whale*** шведск. и датск. hval. Название этого животного связано с понятием округлости, так как по-датски hvalt означает «выгнутый, сводчатый».

Словарь Вебстера

Whale*** происходит непосредственно от голландского и немецкого wallen, англосакск. walw-ian – «кататься, барахтаться».

Словарь Ричардсона

Древнееврейское – ׀ָ

Греческое – χητος

Латинское – etus

Англосаксонское – whoel

Датское – hvalt

Голландское – wal

Шведское – hwal

Исландское – whale

Английское – whale

Французское – baleine

Испанское – ballena

Фиджи – пеки-нуи-нуи

Эрроманго – пехи-нуи-нуи

Извлечения

(Собранные Младшим Помощником библиотекаря)

Читатель сможет убедиться, что этот бедняга Младший Помощник, немудрящий буквоед и книжный червь, перерыл целые ватиканские библиотеки и все лавки букинистов на свете в поисках любых – хотя бы случайных – упоминаний о китах, которые могли только встретиться ему в каких бы то ни было книгах, от священных до богохульных. И потому не следует во всех случаях понимать эти беспорядочные китовые цитаты, хотя и несомненно подлинные, за святое и неоспоримое евангелие цетологии. Это вовсе не так. Отрывки из трудов всех этих древних авторов и упоминаемых здесь поэтов представляют для нас интерес и ценность лишь постольку, поскольку они дают нам общий взгляд с птичьего полета на все то, что только ни было когда-либо, в любой связи и по любому поводу, сказано, придумано, упомянуто и спето о Левиафане всеми нациями и поколениями, включая теперешние.

Итак, прощай, бедняга Младший Помощник, чьим комментатором я выступаю. Ты принадлежишь к тому безрадостному племени, которое в этом мире никаким вином не согреть и для кого даже белый херес оказался бы слишком розовым и крепким; но с такими, как ты, приятно иногда посидеть вдвоем, чувствуя себя тоже несчастным и одиноким, и, упиваясь пролитыми слезами, проникаться дружелюбием к своему собеседнику; и хочется сказать вам прямо, без обиняков, пока глаза наши мокры, а стаканы сухи и на сердце – сладкая печаль: «Бросьте вы это дело. Младшие Помощники! Ведь чем больше усилий будете вы прилагать к тому, чтобы угодить миру, тем меньше благодарности вы дождетесь! Эх, если б мог я очистить для вас Хэмптон-Корт или Тюильрийский дворец! Но глотайте скорее ваши слезы и вскиньте голову, воспарите духом! выше, выше, на самый топ грот-мачты! ибо товарищи ваши, опередившие вас, освобождают для вас семиэтажные небеса, изгоняя прочь перед вашим приходом истинных баловней – Гавриила, Михаила и Рафаила. Здесь мы только чокаемся разбитыми сердцами – там вы сможете сдвинуть разом свои небьющиеся кубки!»

Извлечения

«И сотворил Бог больших китов».

Бытие

«За Левиафаном светится стезя,
Бездна кажется сединой».

Иов

«И предуготовил Господь большую рыбу, чтобы поглотила Иону».

Иона

«Там плавают корабли; там Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем».

Псалмы

«В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим, и крепким, левиафана, змея прямобегающего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет змея морского».

Исайя

«И какой бы еще предмет ни очутился в хаосе пасти этого чудовища, будь то зверь, корабль или камень, мгновенно исчезает он в его огромной зловонной глотке и гибнет в черной бездне его брюха».

Холландов перевод «Моралий» Плутарха

«В Индийском Море водятся величайшие и огромнейшие рыбы, какие существуют на свете; среди них Киты, или Водокруты, именуемые Balaene, которые имеют в длину столько же, сколько четыре акра, или арпана, земли».

Холландов перевод Плиния

«И двух дней не провели мы в плавании, как вдруг однажды на рассвете увидели великое множество китов и прочих морских чудовищ. Из них один обладал поистине исполинскими размерами. Он приблизился к нам, держа свою пасть разинутой, подымая волны по бокам и вспенивая море перед собою».

Тук. Перевод «Правдивой истории» Лукиана

«Он прибыл в нашу страну также еще и для того, чтобы ловить здесь китов, ибо клыки этих животных дают очень ценную кость, образцы коей он привез в дар королю***. Наиболее крупные киты, однако, вылавливаются у берегов его родины, из них иные имеют сорок восемь, иные же пятьдесят ярдов в длину. Он говорит, что он – с ним еще пятеро – убили по шестьдесят китов за два дня».

Рассказ Оттара, или Охтхере, записанный с его слов королем Альфредом в год от Рождества Христова 890

«И между тем как все на свете, будь то живое существо или корабль, безразлично, попадая в ужасную пропасть, какую являет собой глотка этого чудовища (кита), тут же погибает, поглощенное навеки, морской пескарь сам удаляется туда и спит там в полной безопасности».

Монтень. «Апология Реймонда Себона»

«Бежим! Провалиться мне на сем месте, это Левиафан, которого доблестный пророк Моисей описал в житии святого человека Иова».

Рабле

«Печень этого кита нагрузили на две телеги».

Стоу. «Анналы»

«Великий Левиафан, заставляющий море пениться, подобно кипящему котлу».

Лорд Бэкон. Перевод Псалмов

«Касательно же чудовищной туши кита, или орки, мы не располагаем сколь-нибудь определенными сведениями. Оные существа достигают чрезвычайного объема, так что из одного кита может быть получено прямо-таки невероятное количество жира».

«История жизни и смерти»

«И хвалил мне спермацет
Как лучшее лекарство от контузий».

«Король Генрих IV»

«Очень похоже на кита».

«Гамлет»

«Кто может днесь его остановить?
Он рвется в бой и кровию залитый,
Чтоб низкому обидчику отмстить.
Не примет он пощады и защиты.
Так к берегу по волнам несется кит
подбитый».

«Королева фей»

«...грандиозен, точно кит, который движениями своего гигантского тела заставляет вскипать океан даже в мертвый штиль».

Сэр Уильям Давенант. Предисловие к «Гондиберту»

«Что представляет собой спермацет, этого люди, по правде говоря, не знают, ибо даже ученейший Хофманнус после тридцатилетних исследований открыто признал в своей книге: nescio quid sit».⁵

Сэр Т. Браун. «О спермацете и спермацетовом ките». См. его «Трактат о распространенных заблуждениях»

«Как Спенсеров герой своим цепом,
Хвостом он сеет смерть и страх кругом.
* * *

В боку несет он копий целый лес,
Плывя вперед, волнам наперерез».

Уоллер. «Битва у Летних островов»

«Искусством создан тот великий Левиафан, который называется государством (по-латыни Civitas) и который является лишь искусственным человеком».

Гоббс. Вводный параграф из «Левиафана»

«Неосторожный город Мэнсуол так и заглотал его целиком, точно кит рыбешку».

«Путь паломника»

«Тот зверь морской,
Левиафан, кого из всех творений
Всех больше создал Бог в пучине водной».

«Потерянный рай»

⁵ Не знаю, что сие (лат.).

«Левиафан,
Величественнейший из Божьих тварей,
Плывет иль дремлет он в глуби подводной,
Подобен острову плавающему. Вдыхая,
Моря воды он втягивает грудью,
Чтобы затем их к небесам извергнуть».

Там же

«Величавые киты, что плавают в море воды, в то время как море масла плавает в них».

Фуллер. «Мирская и божественная власть»

«Левиафан, за мысом притаясь,
Добычу поджидает без движенья,
И та в разверстую стремится пасть,
Вообразив, что это – путь к спасенью».

Драйден. «Annus Mirabilis»

«Покуда туша кита остается на плаву у них за кормой, голову его отрубают и на шлюпке буксируют как можно ближе к берегу, но на глубине двенадцать-тринадцать футов она уже задевает за дно».

Томас Эдж. «Десять рейсов на Шпицберген». У Парчесса

«По пути они видели много китов, резвившихся в океане и для забавы посылавших к небу через трубы и клапаны, которые природа расположила у них в плечах, целые снопы водяных брызг».

Сэр Т. Герберт. «Путешествия в Азию и Африку». Собрание Гарриса

«Здесь они встретили такие огромные полчища китов, что принуждены были вести свой корабль с величайшей осторожностью из опасения налететь на одну из этих рыб».

Скаутон. «Шестое кругосветное плавание»

«При сильном норд-осте мы отплыли из устья Эльбы на корабле «Иона-в-Китовом-Чреве»***.

Некоторые утверждают, что кит не может открыть пасть, но это все выдумки***.

Матросы обычно забираются на верхушки мачт и высматривают оттуда китов, так как первому, кто заметит кита, выдается в награду золотой дукат***.

Мне рассказывали, что у Шетлендских островов был выловлен один кит, в брюхе у которого нашли селедок больше чем на целую бочку***.

Один наш гарпунщик говорит, что как-то у Шпицбергена он забил кита, который был с головы до хвоста весь белый».

«Плавание в Гренландию» 1671 года от Р. Х. Собрание Гарриса

«Здесь, на побережье Файфа, море иногда выбрасывает на сушу китов. В лето от Рождества Христова 1652 на берег был выброшен один кит, имевший

восемьдесят футов в длину и относившийся к разновидности усатых; как мне сообщили, из его туши было добыто, помимо большого количества жира, не менее 500 аршин китового уса. Его челюсть установлена в виде арки в саду Питферрена».

Сиббальд. «Файф и Кинросс»

«Тут я сказал, что и я, пожалуй, попробую, не удастся ли мне осилить и убить того спермацетового кита, хотя мне не приходилось слышать, чтобы такие, как он, когда-либо погибали от руки человека, – настолько они стремительны и свирепы».

Ричард Страфффорд. «Письмо с Бермудских островов». Филологии, записки, 1688

«Киты в морях
Гласу Божьему внемяют».

Букварь. Изд. в Новой Англии.

«Здесь мы встретили также великое множество крупных китов, которых в Южных морях приходится, я бы сказал, штук по сто на одного, обитающего на Севере».

Капитан Каули. «Кругосветное плавание», 1729 г. от Р. Х.

«***а дыхание кита часто имеет чрезвычайно сильный запах, от которого может наступить помутнение мозгов».

Уллоа. «Южная Америка»

«Заботу же о нижней юбке лучше
Пятидесяти верным сильфам препоручим.
Ведь эта крепость уж не раз была взята,
Хоть укрепляют стены ребрами кита».

«Похищение локона»

«Если мы сравним по величине наземных животных с теми, что обитают в глубине моря, мы обнаружим, что размеры первых просто ничтожны. Кит, вне всякого сомнения, есть величайшая из тварей Божьих».

Голдсмит. «Естественная история»

«Если б Вы вздумали писать сказку для маленьких рыбок, они бы у Вас в книге разговаривали языком исполинских китов».

Голдсмит – Джонсону

«Под вечер мы увидели нечто, показавшееся нам поначалу скалой; но потом выяснилось, что то был мертвый кит, которого забили какие-то азиаты, теперь буксировавшие его к берегу. Они, видимо, пытались укрыться за тушей, дабы не быть замеченными нами».

Кук. «Путешествия»

«На тех китов, что покрупнее, они редко отваживаются нападать. Иные киты внушают им такой ужас, что они боятся даже произнести в море их имена

и возят с собой в вельботах навоз, известь, можжевельник и тому подобные предметы, чтобы отпугивать их».

Уго фон Троиль. «Письма о плавании Бэнкса и Солэндера в Исландию в 1772 г.»

«Спермацетовый кит, открытый жителями Нантакета, это свирепое и подвижное существо; он требует от рыбаков чрезвычайной ловкости и отваги».

Томас Джефферсон. Записки французскому министру об импорте китового жира, 1778 г.

«Но скажите на милость, сэр, что в мире может сравниться с ним?»

Эдмунд Бэрк. Упоминание в парламентской речи о китобойном промысле Нантакета

«Испания, этот огромный кит, выброшенный на берег Юго-Западной Европы».

Эдмунд Бэрк (где-то)

«Десятым источником законного королевского дохода, обусловленным, как полагают, тем обстоятельством, что король охраняет и защищает моря от пиратов и разбойников, является его право на королевскую рыбу, коей почитаются кит и осетр. Выброшенные на берег или же выловленные поблизости от оногo, они объявляются собственностью короля».

Блэкстон

«Вот уж снова
К смертельной схватке все готовы,
И яростный Родмонд занес над головой
Гарпун зазубренный и меткий свой».

Фолконер. «Кораблекрушение»

«Тут, освещая крыши, башни, купола,
Взлетали ввысь ракеты с громким треском,
На миг повиснувши под куполом небесным.
И отступала прочь ночная мгла.
Так – если мы сравним огонь с водой —
Взлетают кверху воды океана,
Когда в знак торжества и ликования
Их к небу посылает кит струей».

Каупер. «На посещение королевой Лондона»

«При первом же ударе из сердца с огромной силой забила струя крови. Всего вытекло галлонов пятнадцать».

Джон Хантер. «Отчет об анатомировании туши кита (небольших размеров)»

«Аорта кита превосходит в диаметре самую толстую водопроводную трубу у Лондонского моста, и вода, бегущая по этой трубе, значительно уступает в скорости и напоре струе крови, изливающейся из сердца кита».

Пэйли. «Теология»

«Кит – это млекопитающее, не имеющее задних конечностей».

Барон Кювье

«На сорок градусов южнее мы заметили кашалотов, но не начинали промысла до самого 1-го мая, когда море было буквально усеяно ими».

Колнет. «Плавание в целях дальнейшего расширения китобойного промысла»

«В стихии водной подо мной мелькали,
Резвясь, играя иль сцепившись насмерть,
Морские твари всех цветов и видов,
Каких язык не в силах описать
И ни один моряк не видел в жизни,
От страшного Левиафана до ничтожных
Мирьядами кишящих насекомых,
Что в каждой плавают соленой капле.
Послушные таинственным инстинктам,
Они свой путь находят без ошибки
В пустынном океанском бездорожье,
Хоть всюду их враги подстерегают:
Киты, акулы, гады, чье оружие —
Меч, и пила, и рог, и гнутый клык».

Монтгомери. «Мир накануне потоп»

«Слава! Пойте славу владыке рыбьему.
Нипочем тайфун и мертвая зыбь ему.
Во всей Атлантике, безбрежной и суровой,
Не сыщешь второго кита такого;
Никогда еще рыба жирнее, чем эта,
Не гуляла, не плавала по белому свету».

Чарлз Лэм. «Триумф кита»

«В лето 1690-е несколько человек стояли на высоком холме и смотрели, как киты резвятся и пускают фонтаны; и один человек сказал, указывая рукой в морскую даль: там лежит зеленое поле, куда дети наших внуков отправятся добывать свой хлеб».

Овид Мэйси. «История Нантакета»

«Я построил домик для нас с Сюзанной и в виде готической арки ворот поставил китовую челюсть».

Готорн. «Дважды рассказанные истории»

«Она пришла ко мне, чтобы посоветоваться насчет памятника человеку, которого она любила в юности и которого тому уже лет сорок назад убил кит в Тихом океане».

Там же

«Нет, сэр, это Настоящий Кит, – ответил Том, – я видел его фонтан; он выпустил к небу две радуги, до того красивые, что всякому христианину на загляденье. Эта зверюга полна маслом, что твой спермацетовый бочонок».
Купер. «Лоцман»

«Были поданы различные газеты, и, просматривая берлинские театральные новости, мы узнали, что там появляются на сцене морские чудовища и киты».
Эккерман. «Разговоры с Гете»

«Ради Бога, мистер Чейс! что случилось?» – Я ответил: «Судно столкнулось с китом, и корпус пробит».
«Описание гибели китобойца «Эссекс» из Нантакета, на которого напал в Тихом океане большой кашалот, составлено Оуэном Чейсом из Нантакета, старшим помощником капитана на упомянутом судне». Нью-Йорк, 1821

«Высоко на мачте моряк стоял,
А ветер свежел и крепчал;
То сиял, то меркнул лунный свет,
И синим фосфором вспыхивал след
Там, где кит вдали проплывал».

Элизабет Оукс Смит

«Общая длина линей, вытравленных со всех вельботов, занятых ловлей одного только кита, составила 10 440 ярдов, или почти шесть английских миль...

Кит имеет обыкновение потрясать по временам в воздухе своим чудовищным хвостом, который щелкает, словно бич, и звук этот разносится над водой на расстояние трех-четырех миль».

Скорсби

«Разъяренный от боли, которую причиняют ему эти новые нападения, кашалот принимается бешено кружиться в воде; он подымает свою огромную голову и, широко разинув пасть, разгрызает все, что ни подвернется; он бросается на вельботы и гонит их перед собой со страшной скоростью, ломая и топя их ударами могучего лба.

...Достоин всяческого удивления, что повадки столь интересного и, с коммерческой точки зрения, столь важного животного (каким является кашалот) совершенно или почти совершенно не привлекают внимания тех весьма многочисленных и подчас ученых наблюдателей, которые за последние годы, безусловно, имели немало отличных возможностей наблюдать их поведение».

Томас Бйлл. «История кашалота», 1839

«Кашалот (Спермацетовый кит) не только вооружен значительно лучше Настоящего (Гренландского) кита, так как он располагает смертоносными орудиями на обеих оконечностях своего тела, но к тому же гораздо чаще проявляет склонность пустить в ход эти орудия, что и предельывает с таким

бесстрашием и коварством, что его считают самой опасной из всех известных разновидностей китового племени».

Фредерик Дебелл Беннетт. «Промысловое плавание вокруг света», 1840

«13 октября.

– Фонтан на горизонте! – раздается с мачты.

– Где? – спрашивает капитан.

– Три румба под ветер, сэр.

– Лево руля! Так держать!

– Есть так держать, сэр!

– Эй, дозорный! А сейчас ты его видишь?

– Да, да, сэр! Их там целое стадо кашалотов! И фонтаны пускают, и из воды скачут.

– Как что увидишь – подавай голос!

– Есть, сэр. Вон фонтан! Еще – еще – еще один!

– Далеко ли?

– Мили две с половиной.

– Гром и молнии! Так близко! Свистать всех наверх!»

Дж. Росс Браун. «Зарисовки во время китобойного плавания», 1846

«Китобойное судно «Глобус», на борту которого произошли те ужасные события, какие мы собираемся здесь изложить, было приписано к острову Нантакету».

Описание бунта на корабле «Глобус», составленное Лэем и Хази, единственными уцелевшими членами команды, 1828 г. от Р. Х.

«Однажды подбитый кит стал его преследовать; сначала он пытался отражать его нападения при помощи остроги, однако разъяренное чудовище в конце концов все же набросилось на вельбот, и ему с товарищами удалось спастись только благодаря тому, что они выпрыгнули в воду, когда увидели, что защищаться невозможно».

Миссионерский дневник Тайермана и Беннетта

«И сам Нантакет, – сказал мистер Вебстер, – представляет собой весьма примечательную и своеобразную статью национального дохода. Там имеется население в восемь или девять тысяч человек, которые всю жизнь живут на море и из года в год способствуют возрастанию национального благосостояния своим мужественным и в высшей степени упорным промыслом».

Отчет о выступлении Дэниела Вебстера в Сенате в связи с законопроектом о возведении волнореза в Нантакете, 1828

«Кит рухнул прямо на него, и, по всей вероятности, смерть его последовала мгновенно».

Достопочтенный Генри Т. Чивер. «Кит и ловцы его, или Приключения китолова и жизнеописание кита, составленные во время обратного рейса на «Коммодоре Пребл»

«Попробуй только пикни, ты у меня своих не узнаешь, – отозвался Сэмюэл».

«Жизнь Сэмюэла Комстока (Бунтаря), описанная его братом Уильямом Комстоком». Другая версия рассказа о событиях на китобойце «Глобус»

«Плавания голландцев и англичан по Северному океану с целью найти, буде это окажется возможным, путь в Индию, хотя и не принесли желаемого результата, обнаружили зато области, где водятся киты».

Мак-Куллох. «Коммерческий словарь»

«Такие вещи все взаимосвязаны; мяч ударяется об землю, чтобы только выше взлететь в воздух; точно так же, открыв места, где водятся киты, китобой тем самым косвенно способствовали разрешению загадки Северо-Западного прохода».

Что-то неопубликованное

«Встретив китобоец в океане, нельзя не поразиться его видом. Судно это под зарифленными парусами на мачтах, с верхушек которых пристально всматриваются в морскую даль трое дозорных, решительно отличается от всяких прочих кораблей».

«Течения и китобойный промысел». Отчеты Американской исследовательской экспедиции

«Быть может, гуляя в окрестностях Лондона или еще где-нибудь, вы замечали длинные изогнутые кости, торчащие из земли в виде арки над воротами или над входом в беседку, и вам говорили, наверное, что это китовые ребра».

«Рассказы о промысловом плавании в Антарктическом океане»

«И только когда вельботы возвратились после погони за китами, белые обнаружили, что их судно находится в кровавых руках дикарей, бывших членами его экипажа».

Газетный отчет о том, как был потерян, а затем отбит назад китобоец «Злой Дух»

«Всем известно, что мало кто из команды китобойцев (американских) возвращается домой на борту того корабля, на котором вышел в плавание».

«Плавание на китобойном судне»

«Вдруг из воды показалась гигантская туша и подскочила вертикально вверх. Это был кит».

«Мириам Коффин, или Рыбак-китолов»

«И допустим даже, вам удалось загарпунить кита; представьте себе, как бы вы управились с резвым диким трехлетком с помощью одной только веревки, привязанной к репице его хвоста».

«Кости и тряпки». Глава о китобойном деле

«Однажды я имел возможность наблюдать двоих таких чудовищ (китов), вероятно, самца и самку, которые медленно плыли друг за другом так близко от осененного буковыми рощами берега (Огненной Земли), что до них, казалось, камнем можно было добросить».

Дарвин. «Путешествие натуралиста»

«Табань! – вскричал старший помощник капитана, когда, обернувшись, увидел над самым носом шлюпки широко разинутую пасть кашалота, угрожавшего им неминуемой гибелью. – Табань, кому жизнь дорога!»
Уортон. «Смерть Китам...»

«Веселей, молодцы, подналяжем – эхой!
Загарпунил кита наш гарпунщик лихой!»

Нантакетская песня

«Старый кит-кашалот в океане живет,
И шторм, и тайфун – нипочем ему.
Он силою велик там, где сила всем велит,
Он царь всему морю огромному».

Китобойная песня

Глава I

Очертания проступают

Зовите меня Измаил. Несколько лет назад – когда именно, неважно – я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы еще занимать меня, и тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного, чтоб поглядеть на мир и с его водной стороны. Это у меня проверенный способ развеять тоску и наладить кровообращение. Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; всякий раз, как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь; всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков и пристраиваться в хвосте каждой встречной похоронной процессии; в особенности же всякий раз, как ипохондрия настолько овладевает мною, что только мои строгие моральные принципы не позволяют мне, выйдя на улицу, упорно и старательно сбивать с прохожих шляпы, я понимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее. Это заменяет мне пулю и пистолет. Катон с философическим жестом бросается грудью на меч – я же спокойно поднимаюсь на борт корабля. И ничего удивительного здесь нет. Люди просто не отдают себе в этом отчета, а то ведь многие рано или поздно по-своему начинают испытывать к океану почти такие же чувства, как и я.

Взгляните, к примеру, на город-остров Манхэттен, словно атолл коралловыми рифами, опоясанный товарными пристанями, за которыми шумит коммерция кольцом прибоя. На какую бы улицу вы тут ни свернули – она обязательно приведет вас к воде. А деловой центр города и самая его оконечность – это Бэттери, откуда тянется величественный мол, омываемый волнами и овеваемый ветрами, которые всего лишь за несколько часов до этого дули в открытом море. Взгляните же на толпы людей, что стоят там и смотрят на воду.

Обойдите весь город сонным воскресным днем. Ступайте от Корлиерсовой излучины до самых доков Коентиса, а оттуда по Уайтхоллу к северу. Что же вы увидите? Вокруг всего города, точно безмолвные часовые на посту, стоят несметные полчища смертных, погруженных в созерцание океана. Одни облокотились о парапеты набережных, другие сидят на самом конце мола, третьи заглядывают за борт корабля, прибывшего из Китая, а некоторые даже вскарабкались вверх по вантам, словно для того, чтобы еще лучше видеть морские дали. И ведь это все люди сухопутных профессий, будние дни проводящие узниками в четырех стенах, прикованные к прилавкам, пригвожденные к скамьям, согбенные над конторками. В чем же тут дело? Разве нет на суше зеленых полей? Что делают здесь эти люди?

Но взгляните! Все новые толпы устремляются сюда, подходят к самой воде, словно нырять собрались. Удивительно! Они не удовлетворяются, покуда не достигнут самых крайних оконечностей суши; им мало просто посидеть вон там в тени пакгауза. Нет. Им обязательно нужно подобраться так близко к воде, как только возможно, не рискуя свалиться в волны. Тут они и стоят, растянувшись на мили, на целые лиги по берегу. Сухопутные горожане, они пришли сюда из своих переулков и тупиков, улиц и проспектов, с севера, юга, запада и востока. Но здесь они объединились. Объясните же мне, может быть, это стрелки всех компасов своей магнетической силой влекут их сюда?

Возьмем другой пример. Представьте себе, что вы за городом, где-нибудь в холмистой озерной местности. Выберите любую из бесчисленных тропинок, следуйте по ней, и – десять против одного – она приведет вас вниз к зеленому долу и исчезнет здесь, как раз в том месте, где поток разливается нешироким озерком. В этом есть какое-то волшебство. Возьмите самого рассеянного из людей, погруженного в глубочайшее раздумье, поставьте его на ноги, подтолкните, так чтобы ноги пришли в движение, – и он безошибочно приведет вас к воде, если только вода вообще есть там в окрестностях. Быть может, вам придется когда-либо терзаться муками жажды среди Великой Американской пустыни, сделайте же тогда этот эксперимент, если в

караване вашем найдется хоть один профессор метафизики. Да, да, ведь всем известно, что размышление и вода навечно неотделимы друг от друга.

Или же, например, художник. У него возникает желание написать самый поэтический, тенистый, мирный, чарующий романтический пейзаж во всей долине Сако. Какие же предметы использует он в своей картине? Вот стоят деревья, все дуплистые, словно внутри каждого сидит отшельник с распятием; здесь дремлет луг, а там дремлет стадо, а вон из того домика подымается в небо сонный дымок. На заднем плане уходит, теряясь в глубине лесов, извилистая тропка, достигая тесных горных отрогов, купающихся в прозрачной голубизне. И все же, хоть и лежит перед нами картина, погруженная в волшебный сон, хоть и роняет здесь сосна свои вздохи, словно листья, на голову пастуху – все усилия живописца останутся тщетны, покуда он не заставит своего пастуха устремить взор на бегущий перед ним ручей. Отправляйтесь в прерии в июне, когда там можно десятки миль брести по колено в траве, усеянной оранжевыми лилиями, – чего не хватает среди всего этого очарования? Воды – там нет ни капли воды! Если бы Ниагара была всего лишь низвергающимся потоком песка, стали бы люди приезжать за тысячи миль, чтобы полюбоваться ею? Почему бедный поэт из Теннесси, получив неожиданно две пригоршни серебра, стал колебаться: купить ли ему пальто, в котором он так нуждался, или же вложить эти деньги в пешую экскурсию на Рокэвей-Бич? Почему всякий нормальный, здоровый мальчишка, имеющий нормальную, здоровую мальчишечью душу, обязательно начинает рано или поздно бредить морем? Почему сами вы, впервые отправившись пассажиром в морское плавание, ощущаете мистический трепет, когда вам впервые сообщают, что берега скрылись из виду? Почему древние персы считали море священным? Почему греки выделили ему особое божество, и притом – родного брата Зевсу? Разумеется, во всем этом есть глубокий смысл. И еще более глубокий смысл заключен в повести о Нарциссе, который, будучи не в силах уловить мучительный, смутный образ, увиденный им в водоеме, бросился в воду и утонул. Но ведь и сами мы видим тот же образ во всех реках и океанах. Это – образ непостижимого фантома жизни; и здесь – вся разгадка.

Однако, когда я говорю, что имею обыкновение пускаться в плавание всякий раз, как туманится мой взгляд и легкие мои дают себя чувствовать, я не хочу быть понятым в том смысле, будто я отправляюсь в морское путешествие пассажиром. Ведь для того чтобы стать пассажиром, нужен кошелек, а кошелек – всего лишь жалкий лоскут, если в нем нет содержимого. К тому же пассажиры страдают морской болезнью, заводят склоки, не спят ночами, получают, как правило, весьма мало удовольствия; нет, я никогда не езжу пассажиром; не езжу я, хоть я и бывалый моряк, ни коммодором, ни капитаном, ни коком. Всю славу и почет, связанные с этими должностями, я предоставляю тем, кому это нравится; что до меня, то я питаю отвращение ко всем существующим и мыслимым почетным и уважаемым трудам, тяготам и тревоблениям. Достаточно с меня, если я могу позаботиться о себе самом, не забываясь еще при этом о кораблях, барках, бригах, шхунах и так далее, и тому подобное. А что касается должности кока – хоть я и признаю, что это весьма почетная должность, ведь кок – это тоже своего рода командир на борту корабля, – сам я как-то не особенно люблю жарить птицу над очагом, хотя, когда ее как следует поджарят, разумно пропитают маслом и толково посолят да поперчат, никто тогда не сможет отозваться о жареной птице с большим уважением – чтобы не сказать благоговением, – чем я. А ведь древние египтяне так далеко зашли в своем идолопоклонническом почитании жареного ибиса и печеного гиппопотама, что мы и сейчас находим в их огромных пекарнях-пирамидах мумии этих существ.

Нет, когда я иду в плавание, я иду самым обыкновенным простым матросом. Правда, при этом мною изрядно помыкают, меня гоняют по всему кораблю и заставляют прыгать с реи на рею, подобно кузнечiku на майском лугу. И поначалу это не слишком приятно. Задевает чувство чести, в особенности если происходишь из старинной сухопутной фамилии вроде Ван-Ранселиров, Рандольфов или Хардиканутов. И тем паче, если незадолго до того момента, как

тебе пришлось опустить руку в бочку с дегтем, ты в роли деревенского учителя потрясал ею самовластно, повергая в трепет самых здоровенных своих учеников. Переход из учителей в матросы довольно резкий, смею вас уверить, и требуется сильнодействующий лечебный отвар из Сенеки в смеси со стойками, чтобы вы могли с улыбкой перенести это. Да и он со временем теряет силу.

Однако что с того, если какой-нибудь старый хрыч капитан приказывает мне взять метлу и вымести палубу? Велико ли здесь унижение, если опустить его на весы Нового Завета? Вы думаете, я много потеряю во мнении архангела Гавриила, оттого что на сей раз быстро и послушно исполню приказание старого хрыча? Кто из нас не раб, скажите мне? Ну, а коли так, то как бы ни помыкали мною старые капитаны, какими бы тумакками и подзатыльниками они ни награждали меня, – я могу утешаться сознанием, что это все в порядке вещей, что каждому достается примерно одинаково – то есть, конечно, либо в физическом, либо в метафизическом смысле; и, таким образом, один вселенский подзатыльник передается от человека к человеку, и каждый в обществе чувствует скорее не локоть, а кулак соседа, чем нам и следует довольствоваться.

Кроме того, я всегда плаваю матросом потому, что в этом случае мне считают необходимым платить за мои труды, а вот что касается пассажиров, то я ни разу не слышал, чтобы им заплатили хотя бы полпенни. Напротив того, пассажиры еще сами должны платить. А между необходимостью платить и возможностью получать плату – огромная разница. Акт уплаты представляет собой, я полагаю, наиболее неприятную кару из тех, что навлекли на нас двое обирателей яблоневых садов. Но когда *тебе платят* – что может сравниться с этим! Изысканная любезность, с какой мы получаем деньги, поистине удивительна, если принять во внимание, что мы серьезно считаем деньги корнем всех земных зол и твердо верим, что богатому человеку никаким способом не удастся проникнуть на небо. Ах, как жизнерадостно миримся мы с вечной погибелью!

И наконец, я всегда плаваю матросом из-за благодатного воздействия на мое здоровье физического труда на свежем воздухе полубака. Ибо в нашем мире с носа ветры дуют чаще, чем с кормы (если, конечно, не нарушать предписаний Пифагора), и потому коммодор на шканцах чаще всего получает свою порцию воздуха из вторых рук, после матросов на баке. Он-то думает, что вдыхает его первым, но это не так. Подобным же образом простой народ опережает своих вождей во многих других вещах, а вожди даже и не подозревают об этом.

Но по какой причине мне, неоднократно плававшему прежде матросом на торговых судах, взбрело на этот раз в голову пойти на китобойце – это лучше, чем кто-либо другой, сумеет объяснить невидимый офицер полиции Провидения, который содержит меня под постоянным надзором, негласно следит за мной и тайно воздействует на мои поступки. Можно не сомневаться в том, что мое плавание на китобойном судне входило составной частью в грандиозную программу, начертанную задолго до того. Оно служило как бы короткой интермедией и сольным номером между более обширными выступлениями. Я думаю, на афише это должно выглядеть примерно так:

ОСТРАЯ БОРЬБА ПАРТИЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕКОЕГО ИЗМАИЛА НА КИТОБОЙНОМ СУДНЕ

КРОВАВАЯ РЕЗНЯ В АФГАНИСТАНЕ

Хоть я и не могу точно сказать, почему режиссер-судьба назначила мне эту жалкую роль на китобойном судне, ведь доставались же другим великолепные роли в возвышенных трагедиях, короткие и легкие роли в чувствительных драмах и веселые роли в фарсах, хоть я и не могу точно сказать, почему так получилось, тем не менее теперь, припоминая все обстоятельства, я начинаю, кажется, немного разбираться в скрытых пружинах и мотивах, которые, будучи представлены мне в замаскированном виде, побудили меня сыграть упомянутую роль да еще льстиво внушили мне, будто я поступил по собственному усмотрению на основе свободы воли и разумных суждений.

Главной среди этих мотивов была всеподавляющая мысль о самом ките, величественном и огромном. Столь зловещее, столь загадочное чудовище не могло не возбуждать моего любопытства. А кроме того, бурные дальние моря, по которым плывет, колыхаясь, его подобная острову туша, смертельная, непостижимая опасность, таящаяся в его облике, в сочетании со всеми неисчислимыми красотами патагонских берегов, их живописными ландшафтами и многозвучными голосами – все это лишь укрепляло меня в моем стремлении. Быть может, другим такие вещи не кажутся столь заманчивыми, но меня вечно томит жажда познать отдаленное. Я люблю плавать по заповедным водам и высаживаться на диких берегах. Не оставаясь глухим к добру, я тонко чувствую зло и могу в то же время вполне ужиться с ним – если только мне дозволено будет, – поскольку надо ведь жить в дружбе со всеми теми, с кем приходится делить кров.

И вот в силу всех этих причин я с радостью готов был предпринять путешествие на китобойном судне; великие шлюзы, ведущие в мир чудес, раскрылись настежь, и в толпе причудливых образов, сманивших меня к моей цели, двойными рядами потянулись в глубине души моей бесконечные процессии китов, и среди них – один величественный крутоверхий призрак, вздымающийся ввысь, словно снеговая вершина.

Глава II

Ковровый саквояж

Я запихнул пару рубашек в свой старый ковровый саквояж, подхватил его под мышку и отправился в путь к мысу Горн, в просторы Тихого океана. Покинув славный старый город Манхэттен, я во благовремении прибыл в Нью-Бедфорд. Дело было в декабре, поздним субботним вечером. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что маленький пакетбот до Нантакета уже ушел и теперь до понедельника туда ни на чем нельзя будет добраться.

Поскольку большинство молодых искателей тягот и невзгод китобойного промысла останавливаются в этом самом Нью-Бедфорде, дабы оттуда отбыть в плавание, мне, разумеется, и в голову не приходило следовать их примеру. Ибо я твердо вознамерился поступить только на нантакетское судно, потому что во всем, что связано с этим славным древним островом, есть какое-то здоровое и неистовое начало, на редкость для меня привлекательное. К тому же, хотя в последнее время Нью-Бедфорд постепенно монополизировал китобойный промысел и хотя бедный старый Нантакет теперь сильно отстает от него в этом деле, тем не менее Нантакет был великим его предшественником, как Тир был предшественником Карфагена, ведь это в Нантакете был впервые в Америке вытасчен на берег убитый кит. Откуда еще, как не из Нантакета, отчалили на своих челноках первые китобои-аборигены, краснокожие индейцы, отправившиеся в погоню за левиафаном? И откуда, как не из Нантакета, отвалил когда-то один отважный маленький шлюп, наполовину нагруженный, как гласит предание, издалека привезенными булыжниками, которые были предназначены для того, чтобы швырять в китов и тем определять, довольно ли приблизился шлюп к цели и можно ли рискнуть гарпуном?

Итак, мне предстояло провести в Нью-Бедфорде ночь, день и еще одну ночь, прежде чем я смогу отплыть к месту моего назначения, и посему возник серьезный вопрос, где я буду есть и спать все это время. Ночь отнюдь не внушала доверия, это была, в общем-то, очень темная и мрачная ночь, морозная и неприятная. Никого в этом городе я не знал. Своими жадными скрюченными пальцами-якорями я уже обшарил дно карманов и поднял на поверхность всего лишь жалкую горстку серебра. «Так что, куда бы ты ни вздумал направиться, Измаил, – сказал я себе, стоя посреди безлюдной улицы с мешком на плече и любуясь тем, как хмурится небо на севере и как мрачнеет оно на юге, – где бы в премудрости своей ты ни решил приклонить главу свою на эту ночь, мой любезный Измаил, не премини осведомиться о цене и не слишком-то привередничай».

Робкими шагами ступая по мостовой, миновал я вывеску «Под скрещенными гарпунами» – увы, сие заведение выглядело чересчур дорого и чересчур весело. Чуть подальше я увидел яркие окна гостиницы «Меч-рыба», откуда красноватый свет падал такими жаркими лучами, что казалось, он растопил весь снег и лед перед домом, а повсюду вокруг смерзшийся десятидюймовый слой льда лежал, словно твердая асфальтовая мостовая, и шагать по этим острым выступам было для меня довольно затруднительно, поскольку в результате тяжелой бесменной службы подошвы мои находились в весьма плачевном состоянии. «И тут чересчур дорого и чересчур весело, – подумал я, задержавшись на мгновение, чтобы полюбоваться яркими отсветами на мостовой и послушать доносящийся изнутри звон стаканов. – Но проходи же, Измаил, слышишь? Убирайся прочь от этой двери: твои залатанные башмаки загрозили вход». И я пошел дальше. Теперь я инстинктивно стал сворачивать на те улицы, которые вели к воде, ибо там, без сомнения, расположены самые дешевые, хотя, может быть, и не самые заманчивые гостиницы.

Что за унылые улицы! По обе стороны тянулись кварталы тьмы, в которых лишь кое-где мерцал свет свечи, словно несомой по черным лабиринтам гробницы. Тогда в последний час последнего дня недели этот конец города казался совсем обезлюдевшим. Но вот я заметил

дымную полоску света, падавшего из заманчиво приоткрытой двери какого-то низкого длинного строения. Здание имело весьма запущенный вид, из чего я сразу заключил, что оно предназначено для общественного пользования. Перешагнув порог, я прежде всего упал, споткнувшись о ящик с золой, оставленный в сенях. «Ха-ха, – сказал я себе, едва не задохнувшись в облаке взлетевших частиц праха, – уж не от погибшего ли града Гоморры этот пепел? Там были «Скрещенные гарпуны», потом «Меч-рыба». А сейчас я, наверное, попал в «Ловушку»?» Тем не менее я поднялся с пола и, слыша изнутри громкий голос, толчком отворил вторую дверь.

Что это? Заседание черного парламента в преисподней? Ряды черных лиц, числом не менее ста, обернулись, чтобы поглядеть на меня; а за ними в глубине черный ангел смерти за кафедрой колотил рукой по раскрытой книге. Это была негритянская церковь, и проповедник держал речь о том, как черна тьма, в которой раздаются лишь вопли, стоны и скрежет зубовой. «Да, Измаил, – пробормотал я, пятясь к двери, – неприятное развлечение ждало тебя под вывеской «Ловушки».

И я снова пошел по улицам, пока не различил наконец поблизости от пристани какой-то тусклый свет и не уловил в воздухе тихий унылый скрип. Подняв голову, я увидел над дверью раскачивающуюся вывеску, на которой белой краской было изображено нечто, отдаленно напоминающее высокую отвесную струю туманных брызг, а под ней начертаны следующие слова: «Гостиница «Китовый фонтан», Питер Гроб».

«Гроб? Китовый фонтан? Звучит довольно зловеще при данных обстоятельствах», – подумал я. Впрочем, ведь говорят, в Нантакете это распространенная фамилия, и сей Питер, вероятно, просто переселился сюда с острова. Свет оттуда шел такой тусклый, вокруг в этот час все казалось таким спокойным, да и сам этот ветхий деревянный домишко выглядел так, словно его перевезли сюда из погорелого района, и так по-нищенски убого поскрипывала над ним вывеска, что я понял – именно здесь я смогу найти пристанище себе по карману и наилучший гороховый кофе.

Странное это было сооружение – старый дом под островерхой крышей совсем перекосялся на один бок, словно несчастный паралитик. Он стоял зажатым в какой-то тесный и мрачный угол, а буйный ветер Евроклидон не переставая завывал вокруг еще яростнее, чем некогда вокруг утлого суденышка бедного Павла. А ведь Евроклидон – это отменно приятный зефир для всякого, кто сидит под крышей и спокойно поджаривает у камина ноги, покуда не придет время отправляться ко сну. «При оценке того буйного ветра, что носит наименование Евроклидон, – говорит один древний автор, чьи труды дошли до нас в единственном экземпляре, владельцем которого являюсь я, – огромная разница проистекает из того, рассматриваешь ли ты его сквозь оконные стекла, ограждающие тебя от холода, царящего по ту сторону, или же ты глядишь на него из того окна, в котором нет переплетов, из окна, по обе стороны которого царит холод, из окна, которое лишь некто по имени Смерть может остекленить». «Право же, – подумал я, когда эти строки пришли мне на память, – ты рассуждаешь разумно, мой древний готический фолиант». В самом деле, глаза эти – окна, а тело мое – это дом. Жаль, правда, что не заткнуты как следует все трещины и щели, надо бы понасовать кое-где немного корпии. Но теперь уже поздно вносить усовершенствования. Вселенная уже возведена, ключевой камень свода уложен и щебень вывезен на телегах миллион лет тому назад. Бедный Лазарь, лязгая зубами на панели, что служит ему подушкой, и в дрожи отрясая последние лохмотья со своего озябшего тела, может законопатить себе уши тряпьем, а рот заткнуть обглоданным кукурузным початком, но и так он не сумеет укрыться от Евроклидона.

– Евроклидон! – говорит Богач в красном шлафроке (он завел себе потом другой, еще краснее). – Уф-ф! Уф-ф! Отличная морозная ночь! Как мерцает Орион; как полыхает северное сияние! Пусть себе болтают о нескончаемом восточном лете, вечном, как в моем зимнем саду. Я за то, чтобы самому создавать свое лето у собственного своего очага.

А что думает по этому поводу Лазарь? Сумеет ли он согреть посиневшие руки, воздев их к великому северному сиянию? Быть может, Лазарь предпочел бы очутиться на Суматре, а не здесь? Быть может, он с удовольствием согласился бы улечься вдоль экватора или же даже, о боги, спуститься в самую бездну огненную, только бы укрыться от мороза?

Однако вот Лазарь должен лежать здесь на панели у порога Богача, словно кит на мели, и это еще несуразнее, чем айсберг, причаливший к одному из Молуккских островов. Да и сам Богач, он ведь тоже живет, словно царь в ледяном доме, построенном из замерзших вздохов, и как председатель общества трезвенников он пьет лишь чуть теплые слезы сирот.

Но теперь довольно ныть и стонать, мы уходим на китобойный промысел, и все это в изобилии нам еще предстоит. Давайте отдерем лед с обмерзших подошв и поглядим, что представляет собой гостиница «Китовый фонтан».

Глава III

Гостиница «Китовый фонтан»

Входя под островерхую крышу гостиницы «Китовый фонтан», вы оказываетесь в просторной низкой комнате, обшитой старинными деревянными панелями, напоминающими борта ветхого корабля смертников. С одной стороны на стене висит очень большая картина, вся закопченная и до такой степени стертая, что, разглядывая ее в слабом перекрестном освещении, вы только путем долговременного усердного изучения, систематически к ней возвращаясь и проводя тщательный опрос соседей, смогли бы в конце концов разобраться в том, что на ней изображено. Там нагромождено такое непостижимое скопище теней и сумерек, что поначалу вы готовы вообразить, будто перед вами – труд молодого, подающего надежды художника, задавшегося целью живописать колдовской хаос тех времен, когда Новая Англия славилась ведьмами. Однако в результате долгого и вдумчивого созерцания и продолжительных упорных размышлений, в особенности же в результате того, что вы догадались распахнуть оконце в глубине комнаты, вы в конце концов приходите к заключению, что подобная мысль, как ни дика она, тем не менее не так уж безосновательна.

Но вас сильно озадачивает и смущает нечто вытянутое, гибкое и чудовищное, черной массой повисшее в центре картины над тремя туманными голубыми вертикальными линиями, плывущими в невообразимой пенной пучине. Ну и картина в самом деле, вся какая-то текучая, водянистая, расплывающаяся, нервного человека такая и с ума свести может. В то же время в ней есть нечто возвышенное, хотя и смутное, еле уловимое, загадочное, и оно тянет вас к полотну снова и снова, пока вы наконец не дадите себе невольной клятвы выяснить любой ценой, что означает эта диковинная картина. По временам вас осеняет блестящая, но, увы, обманчивая идея: это штормовая ночь на Черном море; противоестественная борьба четырех стихий; ураган над вересковой пустошью; гиперборейская зима; начало ледохода на реке Времени... Но все эти фантазии в конце концов отступают перед чудовищной массой в центре картины. Понять, что это, – и все остальное будет ясно. Но постойте, не напоминает ли это отдаленно какую-то гигантскую рыбу? Быть может, даже самого левиафана?

И в самом деле, по моей окончательной версии, частично основанной на совокупном мнении многих пожилых людей, с которыми я беседовал по этому поводу, замысел художника сводится к следующему. Картина изображает китобойца, застигнутого свирепым ураганом у мыса Горн; океан безжалостно швыряет полузатопленное судно, и только три его голые мачты еще поднимаются над водой; а сверху огромный разъяренный кит, вознамерившийся перепрыгнуть через корабль, запечатлен в тот страшный миг, когда он обрушивается прямо на мачты, словно на три огромных вертела.

Вся противоположная стена была сплошь увешана чудовищными дикарскими копьями и дубинками. Какие-то блестящие зубы густо унизывали деревянные рукоятки, так что те походили на костяные пилы. Другие были украшены султанами из человеческих волос. А одно из этих смертоносных орудий имело серповидную форму и огромную загнутую рукоятку и напоминало собою ту размашистую дугу, какую описывает в траве длинная коса. При взгляде на него вы вздрагивали и спрашивали себя, что за свирепый дикарь-каннибал собирал когда-то свою смертную жатву этим жутким серпом. Тут же висели старые заржавленные китобойные гарпуны и остроги, все гнутые и поломанные. С иными из них были связаны целые истории. Вот этой острой, некогда такой длинной и прямой, а теперь безнадежно искривленной, пятьдесят лет тому назад Натан Свейн успел убить между восходом и закатом пятнадцать китов. А вон тот гарпун – столь похожий теперь на штопор – был когда-то заброшен в яванских водах, но кит сорвался и ушел и был убит много-много лет спустя у мыса Бланко. Гарпун вонзился

чудовищу в хвост, но за это время, подобно игле, блуждающей в теле человека, проделал путь в сорок футов и был найден в мякоти китового горба.

Пересекая эту сумрачную комнату, вы через низкий сводчатый проход, пробитый, надо полагать, на месте большого центрального камина и потому имеющий по несколько очагов вдоль обеих стен, попадаете в буфетную. Эта комната еще сумрачнее первой; над самой головой у вас выступают такие тяжелые балки, а под ногами лежат такие ветхие корявые доски, что вы готовы вообразить себя в кубрике старого корабля, в особенности если дело происходит бурной ночью, когда этот древний ковчег, стоящий на якоре в своем закоулке, весь сотрясается от ударов ветра. Сбоку у стены там стоял длинный, низкий, похожий на полку стол, уставленный потрескавшимися стеклянными ящиками, в которых хранились запыленные диковины, собранные в самых отдаленных уголках нашего просторного мира. А из дальнего конца комнаты выступала буфетная стойка – темное сооружение, грубо воспроизводившее очертания головы гренландского кита. И как ни странно, но это действительно была огромная аркообразная китовая челюсть, такая широкая, что чуть ли не целая карета могла проехать под ней. Внутри она была увешана старыми полками, кругом уставленными старинными графинами, бутылками, флягами; и в этой всесокрушающей пасти, словно второй Иона (кстати, именно так его там и прозвали), суетился маленький сморщенный старичок, втридорога продававший морякам горячку и погибель за наличные деньги.

Устрашающи были стаканы, куда лил он свой яд. Снаружи они казались правильными цилиндрами, но внутри зеленое дутое стекло прехитрым образом сужалось книзу, да и доньшки оказывались обманчиво толстыми. По стенкам в стекле были грубо выдолблены параллельные меридианы, опоясывавшие эти разбойничьи кубки. Налиют вам до этой мерки – с вас пенни, до другой – еще пенни, и так до самого верха – китобойская доза, которую вы можете получить за один шиллинг.

Войдя в помещение, я увидел у стола группу молодых моряков, разглядывавших в тусклом свете заморские диковины. Я нашел глазами хозяина и, заявив ему о своем намерении снять у него комнату, услышал в ответ, что его гостиница полна – нет ни одной свободной постели.

– Однако постойте, – тут же добавил он, хлопнув себя по лбу, – вы ведь не станете возражать, если я предложу вам разделить ложе с одним гарпунщиком, а? Вы, я вижу, собрались поступать на китобоец, вот вам и надо привыкать к таким вещам.

Я сказал ему, что не люблю спать вдвоем в одной постели, что если уж я когда-нибудь и пошел бы на это, то здесь все зависит от того, что представляет собой гарпунщик; если же у него (хозяина) действительно нет другого места и если гарпунщик будет не слишком неприемлем, то, уж конечно, чем и дальше бродить в такую морозную ночь по улицам чужого города, я готов удовлетвориться половиной одеяла, которым поделится со мной любой честный человек.

– Ну, то-то. Вот и отлично. Да вы присядьте. Ужинать-то, ужинать будете? Ужин сейчас уж поспеет.

Я сел на старую деревянную лавку, вдоль и поперек покрытую резьбой не хуже скамеек в парке Бэттери. На другом конце ее какой-то задумчивый матрос, усердно согнувшись в три погребели и широко раздвинув колени, украшал сиденье при помощи карманного ножа. Он пытался изобразить корабль, идущий на всех парусах, но, по-моему, это ему плохо удавалось.

Наконец нас – человек пять-шесть – пригласили к столу в соседней комнате. Там стоял холод, прямо как в Исландии, камин даже не был затоплен – хозяин сказал, что не может себе этого позволить. Только тускло горели две сальных свечи в двух витых подсвечниках. Пришлось нам застегнуть на все пуговицы свои матросские куртки и греть оледеневшие пальцы о кружки с крутым кипятком. Но накормили нас отменно. Не только картошкой с мясом, но еще и пышками, да, клянусь богом, пышки к ужину! Один юноша в зеленом бушлате набросился на эти пышки самым свирепым образом.

– Эй, парень, – заметил хозяин, – помяни мое слово, сегодня ночью тебя будут мучить кошмары.

– Хозяин, – шепотом спросил я, – это не тот самый гарпунщик?

– Да нет, – ответил он мне с какой-то дьявольской усмешкой, – тот гарпунщик – смуглый молодой человек. И пышек он никогда не станет есть, нет, нет, он ест одни бифштексы. Да и те только с кровью.

– У него губа не дура, – говорю. – Но где же он сам-то? Здесь?

– Вскорости будет здесь, – последовал ответ.

Этот «смуглый» гарпунщик начинал внушать мне некоторые опасения. На всякий случай я принял решение: если нам все-таки придется спать с ним вместе, заставить его раздеться и лечь в постель первым.

Ужин кончился, и общество вернулось в буфетную, где я, не видя иного способа убить время, решил посвятить остаток вечера наблюдениям над окружающими.

Внезапно снаружи донеслись буйные возгласы. Хозяин поднял голову и воскликнул: «Это команда «Косатки»! Я утром читал, что «Косатка» появилась на рейде. Три года были в плавании и вот пришли с полными трюмами. Ура, ребята! Сейчас узнаем, что новенького на Фиджи».

Из прихожей донесся стук матросских сапог, дверь распахнулась, и к нам ввалилась целая стая диких морских волков. Вернее же – свирепых лабрадорских медведей, каковых они напоминали в своих теплых косматых полушубках и накрученных на головы шерстяных шарфах, все в лохмотьях и заплатках, с сосульками в промерзших бородах. Они только что высадились со своего корабля и прежде всего зашли сюда. Неудивительно поэтому, что они прямым курсом устремились к китовой пасти – буфету, где хлопотливый сморщенный старичок Иона тут же наделил каждого полным до краев стаканом вина. Один из прибывших пожаловался на сильную простуду, и по этому поводу Иона приготовил и протянул ему большую дозу дегтеподобного джина, смешанного с патокой, представлявшего собой, по его клятвенному заверению, королевское средство от любых простуд и катаров, и свежих, и застарелых, где бы вы их ни подхватили – у лабрадорского побережья или же с подветренной стороны какого-нибудь айсберга.

Хмель скоро бросился им в голову, как это обычно и случается даже с самыми отъявленными пьяницами, когда они после плавания впервые сходят на берег, и они стали предаваться крайне буйным развлечениям.

Я заметил, однако, что один из них держался немного в стороне от остальных, и хоть видно было, что ему не хочется портить здорового веселья товарищей трезвым выражением лица, в общем-то, он все-таки предпочитал шуметь поменьше, чем другие. Этот человек сразу же возбудил мой интерес; и поскольку морские боги судили ему быть впоследствии моим товарищем по плаванию (хотя всего лишь на немых ролях, по крайней мере, на страницах настоящего повествования), я попытаюсь сейчас набросать его портрет. Он имел полных шесть футов росту, великолепные плечи и грудную клетку – настоящий кессон для подводных работ. Редко случалось мне видеть такую силу в человеке. Лицо у него было темно-коричневым от загара, а белые зубы по контрасту казались просто ослепительными. Но в затененной влажной глубине его глаз таились какие-то воспоминания, видимо, не очень его веселившие. Речь сразу же выдавала в нем южанина, а отличное телосложение позволяло догадываться, что это рослый горец с Аллеганского кряжа. Когда пиршественное ликование его сотрапезников достигло наивысшего предела, человек этот незаметно вышел из комнаты, и больше я его уже не видел, покуда он не стал моим спутником на корабле. Однако через несколько минут товарищи хвятились его. Видно, он по какой-то причине пользовался у них большой любовью, потому что тут же поднялся крик: «Балкингтон! Балкингтон! Где Балкингтон?» – и все они вслед за ним устремились вон из гостиницы.

Было уже около девяти часов. В комнате после этой шумной оргии наступила почти сверхъестественная тишина, и я поздравлял себя с одним небольшим планом, который пришел мне в голову перед самым появлением матросов.

Никто не любит спать вдвоем. Право же, даже с родным братом вы всей душой предпочли бы не спать вместе. Не знаю, в чем тут дело, но только люди, когда спят, склонны проделывать это в уединении. Ну, а уж если речь идет о том, чтоб спать с чужим, незнакомым человеком, в незнакомой гостинице, в незнакомом городе, и незнакомец этот к тому же еще гарпунщик, в таком случае ваши возражения умножаются до бесконечности. Да и не было никаких реальных резонов для того, чтобы я как матрос спал с кем-нибудь в одной кровати, ибо матросы в море не чаще спят вдвоем, чем холостые короли на суше. Спят, конечно, все в одном помещении, но у каждого есть своя койка, каждый укрывается собственным одеялом и спит в своей собственной шкуре.

И чем больше я размышлял о гарпунщике, тем неприятнее становилась для меня перспектива спать с ним вместе. Справедливо было предположить, что раз он гарпунщик, то белье у него вряд ли будет особенно чистым и наверняка – не особенно тонким. Меня просто всего передергивало. Кроме того, было уже довольно поздно, и моему добропорядочному гарпунщику следовало бы вернуться и взять курс на постель. Подумать только, а вдруг он заявится в середине ночи и обрушится прямо на меня – разве я смогу определить, из какой грязной ямы он притаился?

– Хозяин! Я передумал относительно гарпунщика – я с ним спать не буду. Попробую устроиться здесь, на лавке.

– Как пожелаете. Жаль только, я не смогу ссудить вас скатертью взамен матраса, а доски здесь дьявольски корявые – все в сучках и зазубринах. Впрочем, постойте-ка, приятель, у меня тут в буфете есть рубанок. Погодите минутку, я сейчас устрою вас как следует. – Говоря это, хозяин достал рубанок и, смахнув предварительно с лавки пыль своим старым шелковым платком, принялся что было мочи стругать мое ложе, ухмыляясь при этом какой-то насмешливой ухмылкой. Стружки летели во все стороны, покуда лезвие рубанка вдруг не наткнулось на дьявольски крепкий сучок. Хозяин едва не вывихнул себе кисть, и я стал заклинять его во имя Господа, чтобы он остановился: для меня это ложе и так было достаточно мягким, да к тому же я отлично знал, что, как ни стругай, никогда в жизни из сосновой доски не сделаешь пуховой перины. Тогда, снова ухмыльнувшись, он собрал стружки, сунул их в большую печь посреди комнаты и занялся своими делами, оставив меня в мрачном расположении духа.

Я примерился к лавке и обнаружил, что она на целый фут короче, чем мне надо; однако этому можно было помочь посредством стула. Но она оказалась к тому же еще и на целый фут уже, чем необходимо, а вторая лавка в этой комнате была дюйма на четыре выше, чем обструганная, так что составить их вместе не было никакой возможности. Тогда я поставил свою лавку вдоль свободной стены, но не вплотную, а на некотором расстоянии, чтобы в промежутке поместить свою спину. Но скоро я почувствовал, что от подоконника на меня сильно тянет холодом, и понял всю неосуществимость своего плана, тем более что вторая струя холодного воздуха шла от ветхой входной двери, сталкиваясь с первой, и вместе они образовывали целый хоровод маленьких вихрей в непосредственной близости от того места, где я вздумал было провести ночь.

А, дьявол заberi этого гарпунщика, подумал я; однако постой-ка, я ведь могу упредить его – заложить засов изнутри, забраться в его постель, и пусть тогда колотят в дверь как хотят – я все равно не проснусь. Мысль эта показалась мне недурна, но, подумав еще немного, я все-таки от нее отказался. Кто его знает, а вдруг наутро, выйдя из комнаты, я тут же наткнулся на гарпунщика, готового сбить меня с ног ударом кулака?

Я снова огляделся вокруг, по-прежнему не видя иной возможности сносно провести ночь, как только в чужой постели, и подумал, что, быть может, я все-таки напрасно так

предубежден против неведомого мне гарпунщика. Подожду-ка еще немного, думаю, скоро уж он, наверно, заявится. Я рассмотрю его хорошенько, и, может быть, мы с ним отлично вместе выпьемся, кто знает?

Однако время шло, другие постояльцы по одному, по двое и по трое входили в гостиницу и разбредались по своим комнатам, а моего гарпунщика все не было видно.

– Хозяин, – сказал я, – что он за человек? Он всегда так поздно приходит?

Дело было уже близко к двенадцати.

Хозяин снова усмехнулся своей издевательской усмешкой, словно что-то недоступное моему пониманию сильно его развлекало.

– Нет, – ответил он мне, – обычно он возвращается рано. Рано в кровать, рано вставать. Ранняя птичка. Кто рано встает, тому Бог дает. Но сегодня он отправился торговать. Никак не пойму, что это его так задержало, разве только он никак не продаст свою голову.

– Продать свою голову? Что за небылицы ты плетешь? – Ярость моя постепенно возрас- тала. – Уж не хочешь ли ты сказать, хозяин, что в святой субботний вечер или, вернее, в утро святого воскресенья твой гарпунщик занимается тем, что ходит по всему городу и торгует своей головой?

– Именно так, – подтвердил хозяин. – И я предупредил его, что ему не удастся продать ее здесь: рынок забит ими.

– Чем забит? – заорал я.

– Да головами же. Разве в нашем мире не слишком много голов?

– Вот что, хозяин, – сказал я совершенно спокойно, – советую тебе угостить этими рос- сказнями кого-нибудь другого – я не такой уж зеленый простачок.

– Возможно, – согласился он, выстругивая из палочки зубочистку. – Да только думается мне, быть вам не зеленым, а синим, если этот гарпунщик услышит, как вы хулите его голову.

– Да я проломлю его дурацкую голову! – снова возмутился я невразумительной болтовней хозяина.

– Она и так проломана.

– Проломана? То есть как это проломана?

– Ясное дело, проломана. Поэтому-то, я думаю, он и не может ее продать.

– Хозяин, – говорю я и подхожу к нему вплотную, холоден, как Гекла во время снежной бури. – Хозяин, перестаньте затачивать зубочистки. Нам с вами нужно понять друг друга, и притом без промедления. Я прихожу к вам в гостиницу и спрашиваю постель, а вы говорите, что можете предложить мне только половину и что вторая половина принадлежит какому-то гарпунщику. И об этом самом гарпунщике, которого я даже еще не видел, вы упорно рассказываєте мне самые загадочные и возмутительные истории, словно нарочно стараетесь возбудить во мне неприязненное чувство по отношению к человеку, с которым мне предстоит спать в одной кровати и с которым поэтому меня будут связывать отношения близкие и в высшей степени конфиденциальные. Поэтому я требую, хозяин, чтобы вы оставили недомолвки и объяснили мне, кто такой этот гарпунщик, и что он собой представляет, и буду ли я в полной безопасности, если соглашусь провести с ним ночь. И прежде всего, хозяин, будьте добры признать, что эта история с продажей головы вымышленная, ибо, в противном случае, я считаю ее очевидным доказательством того, что ваш гарпунщик совершенно не в своем уме, а я вовсе не желаю спать с помешанным; а вас, сэр, да-да, хозяин, именно вас, за сознательную попытку принудить меня к этому я с полным правом смогу привлечь к судебной ответственности.

– Ну и ну, – проговорил хозяин, едва переводя дыхание. – Довольно длинная проповедь, особенно если кто и чертыхается еще понемножку. Да только зря вы волнуетесь. Этот гарпунщик, о котором я вам говорю, только недавно вернулся из рейса по Южным морям, где он накупил целую кучу новозеландских бальзамированных голов (они здесь ценятся как большая редкость), и распродал уже все, кроме одной: сегодня он хотел обязательно продать послед-

нюю, потому что завтра воскресенье, а это уж неподходящее дело – торговать человеческими головами на улицах, по которым люди идут мимо тебя в церковь. В прошлое воскресенье я как раз остановил его, когда он собирался выйти за порог с четырьмя головами, нанизанными на веревочку, ну что твоя связка луковиц, ей-богу.

Это объяснение рассеяло тайну, только что представлявшуюся необъяснимой, и доказало, что хозяин, в общем-то, не имел намерения дурачить меня, но в то же время что мог я подумать о гарпунщике, который всю ночь с субботы на святое воскресенье проводил на улице за таким людоедским делом, как торговля головами мертвых идолопоклонников?

– Можете мне поверить, хозяин, этот гарпунщик – опасный человек.

– Платит аккуратно, – последовал ответ. – Однако ведь уже страсть как поздно, пора и на боковую. Ей-богу, послушайте вы меня, это отличная кровать. Салли и я спали на этой самой кровати с той ночи, когда нас окрутили. Для двоих в этой кровати места за глаза – кувыркайся как хочешь. Отличнейшая просторная кровать. Да что там говорить, пока мы спали на ней, Сал еще укладывала в ногах нашего Сэма и нашего маленького Джонни. Но потом мне однажды приснился какой-то сон, я стал брыкаться и спихнул Сэма на пол, так что он едва не сломал руку. После этого Сал сказала, что так не годится. Да вот пойдете-ка, взгляните сами.

Сказав это, он зажег свечу и протянул ее мне, пропуская меня вперед. Но я стоял в нерешительности, и тут он, взглянув на часы в углу комнаты, воскликнул:

– Ну вот и воскресенье! Сегодня ночью вы уже не увидите своего гарпунщика. Видно, он стал на якорь где-то в другом месте. Да пошли же, пошли! Идете вы или нет?

Я поразмыслил еще минуту, а затем мы зашагали вверх по лестнице, и я очутился в небольшой, холодной, как устричная раковина, комнатке, посреди которой действительно стояла чудовищная кровать – настолько большая, что в ней спокойно уместились бы четыре спящих гарпунщика.

– Ну вот, – сказал хозяин и поставил свечу на старый матросский сундук, служивший здесь одновременно и подставкой для умывального таза, и столом, – теперь устраивайтесь поудобнее. Спокойной вам ночи.

Я оторвал взгляд от кровати, оглянулся, но он уже исчез.

Тогда я отвернул одеяло и наклонился над постелью. Далекая от какой бы то ни было изысканности, она тем не менее оказалась при ближайшем рассмотрении вполне сносной. Тогда я стал оглядывать комнату, но, помимо кровати и сундука-стола, не обнаружил здесь никакой другой мебели, кроме грубо сколоченной полки, четырех стен и каминного экрана, обклеенного бумагой с изображением человека, поражающего кита. Из предметов, не входящих непосредственно в обстановку этой комнаты, здесь была скатанная и перевязанная койка, брошенная на пол в углу, а вместо сухопутного чемодана большой матросский мешок, содержащий, без сомнения, гардероб гарпунщика. Сверх того, на полке над камином лежала связка костяных рыболовных крючков диковинного вида, а у изголовья кровати стоял длинный гарпун.

Но что за предмет лежит на сундуке? Я взял его в руки, поднес к свету, щупал, нюхал и всяческими способами пытался прийти относительно него к какому-нибудь вразумительному заключению. Я могу сравнить его только с большим половиком, украшенным по краям позвякивающими висюльками наподобие игл пятнистого дикобраза на отворотах индейских мокасин. В центре этого половика была дыра, вернее, узкий разрез, вроде того, что мы видим в плащах-пончо. Но возможно ли, чтобы здравомыслящий гарпунщик нацепил на себя половик и в подобном одеянии расхаживал по улицам христианского города? Я примерил его из любопытства, и он, словно тук с провизией, так и пригнул меня книзу – толстый, косматый и, как показалось мне, слегка влажный, как будто загадочный гарпунщик носил его под дождем. Не снимая его, я подошел к осколку зеркала, приставленного к стене, – никогда в жизни не видел я подобного зрелища. Я с такой поспешностью выдирался из него, что едва не удавил себя.

Потом я уселся на край кровати и стал размышлять о торгующем головами гарпунщике и его половике. Поразмыслив некоторое время на краю кровати, я встал, снял бушлат и стал размышлять посреди комнаты. Потом снял куртку и малость поразмыслил в одной рубашке. Но почувствовав, что полураздетый я начинаю замерзать, и вспомнив, как хозяин уверял меня, что гарпунщик сегодня вовсе не вернется домой, потому что час уже слишком поздний, я без дальнейших колебаний разулся и скинул панталоны, а затем, задув свечу, повалился на кровать и поручил себя заботам Провидения.

Чем там был набит матрас – обглоданными кукурузными початками или битой посудой, – сказать трудно, но я долго ворочался в постели и все никак не мог заснуть. Наконец я забылся легкой дремотой и готов был уже отплыть с попутным ветром в сонное царство, как вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги и в щели под дверью замерцал слабый свет.

Господи, помилосердствуй, думаю, ведь это, должно быть, гарпунщик, проклятый торговец головами. А сам лежу совершенно неподвижно, преисполнившись решением не произнести ни слова, покуда ко мне не обратятся. Держа в одной руке свечу, а в другой – ту самую новозеландскую голову, незнакомец вошел в комнату и, даже не взглянув на кровать, поставил свечу прямо на пол в дальнем углу, а сам принялся возиться с веревками, перевязывавшими большой мешок, о котором я уже упоминал. Я горел желанием рассмотреть его лицо, но, занятый развязыванием мешка, он некоторое время стоял, отвернувшись от меня. Однако, справившись наконец с веревками, он обернулся и – о небо! Что я увидел! Какая рожа! Цвета темно-багрового с прожельтью, это лицо было усеяно большими черными квадратами. Ну вот, так я и знал: эдакое пугало мне в сотоварищи! Он, видно, подрался с кем-то, ему изрезали все лицо, и хирург наклеил пластырей. Но в этот самый момент он как раз обратил лицо к свету, и я отчетливо увидел, что это у него вовсе не пластыри, эти черные квадраты на щеках. Это были какие-то пятна на коже. Вначале я не знал, что и подумать, но скоро стал подозревать истину. Мне припомнился рассказ о белом человеке – тоже китобое, – который попал к каннибалам и был подвергнут ими татуировке. И я решил, что и этот гарпунщик во время своих дальних плаваний пережил подобное приключение. Ну и что с того, в конце концов подумал я. Ведь это всего лишь его внешний облик, можно под всякой кожей быть честным человеком. Однако как же объяснить нечеловеческий цвет его лица, вернее, цвет тех участков кожи, которые лежат по краям черных квадратов и не затронуты татуировкой? Возможно, правда, что это – лишь сильный тропический загар, но, право же, я никогда не слышал, чтобы в лучах жаркого солнца белый человек загорал до багово-желтого цвета. Впрочем, ведь я никогда не бывал в Южных морях; быть может, южное солнце там оказывает на кожу подобное невероятное воздействие. Между тем как все эти мысли, словно молнии, проносились у меня в голове, гарпунщик по-прежнему не замечал меня. Повозившись с мешком, он открыл его, порылся там и вскоре извлек нечто вроде томагавка и какую-то сумку из тюленьей шкуры мехом наружу. Положив все это на старый сундук в центре комнаты, он взял новозеландскую голову – вещь достаточно отвратительную – и запихал ее в мешок. Затем он снял шапку – новую бобровую шапку, – и тут я чуть было не взвыл от изумления. На голове у него не было волос, во всяком случае, ничего такого, о чем бы стоило говорить, только небольшой черный узелок, скрученный над самым лбом. Эта лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп. Если бы незнакомец не стоял между мною и дверью, я бы пулей вылетел из комнаты – быстрее, чем расправлялся когда-либо с самым вкусным обедом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.